

Философия настоящего

Джордж Герберт Мид

С Е Р И Я

С О Ц И А Л Ь Н А Я

Т Е О Р И Я

В Ы С Ш А Я

Ш К О Л А

Э К О Н О М И К И

ФИЛОСОФИЯ НАСТОЯЩЕГО

ДЖОРДЖ ГЕРБЕРТ МИД

Перевод с английского
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВА,
ВАСИЛИЯ КУЗЬМИНОВА



Издательский дом
Высшей школы экономики
МОСКВА, 2014

С Е Р И Я
С О Ц И А Л Ь Н А Я
Т Е О Р И Я

The PHILOSOPHY
of the PRESENT

GEORGE HERBERT MEAD

УДК 32.01
ББК 66.0
М57

Составитель серии
ВАЛЕРИЙ АНАШВИЛИ
Научный редактор
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ

Дизайн серии
ВАЛЕРИЙ КОРШУНОВ

- М57 **Мид, Дж. Г.** Философия настоящего [Текст] / под ред. А. И. Мерфи; предисл., введ. А. И. Мерфи; вступит. слово Дж. Дьюи; пер. с англ. В. Г. Николаева, В. Я. Кузьмина (доп. очерк IV); под науч. ред. В. Г. Николаева; закл. ст. В. Г. Николаева; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. — 272 с. — (Социальная теория). — 1000 экз. — ISBN 978-5-7598-1099-5 (в пер.).

Первое полное издание на русском языке книги одного из столпов американского прагматизма, идеи которого легли в основу символического интеракционизма. В книге поднимаются важнейшие вопросы социального и исторического познания, философии науки, вопросы единства естественно-научного и социального знания (на примере теорий относительности, электромагнитного излучения, строения атома и теории социального поведения и социальности). В перспективе новейших для того времени представлений о пространстве и времени автор дает свое понимание прошлого, настоящего и будущего, вписанное в его прагматистскую концепцию опыта и теорию действия.

Книга представляет интерес для специалистов по философии науки, познания, социологической теории и социальной психологии.

УДК 32.01
ББК 66.0

В оформлении обложки использован фрагмент картины Брайса Мардена (Brice Marden) Avrutun. 1971.

ISBN 978-5-7598-1099-5

- © Перевод на рус. яз., оформление. Издательский дом Высшей школы экономики, 2014
- © Заключительная статья. Николаев В.Г., 2014

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Артур И. Мерфи. Предисловие</i>	6
<i>Артур И. Мерфи. Введение</i>	8
<i>Джон Дьюи. Предварительные замечания</i>	36

ФИЛОСОФИЯ НАСТОЯЩЕГО

I. Настоящее как локус реальности.....	43
II. Эмерджентность и идентичность	75
III. Социальная природа настоящего	90
IV. Импликации Я	110

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОЧЕРКИ

I. Эмпирический реализм.....	135
II. Физическая вещь.....	162
III. Научные объекты и опыт.....	182
IV. Объективная реальность перспектив.....	203
V. Генезис Я и социальный контроль	218

<i>Владимир Николаев. Джордж Герберт Мид и его «Философия настоящего»</i>	237
---	-----

Предисловие

В этом томе содержится материал, из которого должна была вырасти «Философия настоящего» м-ра Мида. Ни одна его часть, кроме двух последних дополнительных очерков, не предназначалась для публикации в том виде, в каком она здесь представлена. Первые четыре главы — это Карусовские лекции, прочитанные на съезде Американской философской ассоциации в Беркли в декабре 1930 г. Они не задумывались как что-то большее, нежели частичное изложение более масштабного проекта. К сожалению, м-р Мид, занимая пост заведующего отделением философии в Чикагском университете, вынужден был посвятить время, зарезервированное им на завершение этих лекций, неожиданным и беспокойным административным делам. Ввиду этого обстоятельства, лекции были написаны в спешке, в значительной мере во время поездки из Чикаго в Беркли, и у него не было возможности непосредственно после выступления приступить к тем исправлениям, которые он собирался внести. К концу января он серьезно заболел и через несколько недель умер. В том виде, в каком лекции опубликованы здесь, они содержательно точно соответствуют тому, как они прозвучали в Беркли; однако весь текст был отредактирован, а вторая лекция разделена на две части, ставшие первой и второй главами. Все сноски были добавлены к оригинальной рукописи редактором.

После кончины м-ра Мида среди его бумаг были найдены еще две рукописи, явно представлявшие собой предварительные наброски Карусовских лекций. Они охватывают по большей части те же темы, что и лекции, но каждая содержит важный дополнительный материал. Первые три дополнительных очерка были отобраны из этих рукописей. Во втором сохранились две параллельные версии анализа. Трудность объяснения, видимо, указывала на желательность такого по-

вторения. Заглавия к этим очеркам были добавлены редактором. Четвертый очерк перепечатывается из Ученых записок VI Международного философского конгресса, а пятый — из апрельского номера «Международного журнала этики» за 1925 г. В каждом из них представлен какой-то существенный аспект теории м-ра Мида, не отраженный в достаточной степени в самих лекциях.

Те, кто знали м-ра Мида по преподаванию, остро почувствуют всю неполноту этого представления его философии. Сам он постоянно, пока мог, перестраивал свою теорию в свете «эмерджентного» материала. Когда я последний раз разговаривал с ним, а было это за неделю до его кончины, он работал с книгой Бергсона «*Durée et simultanéité*», пытаясь связать ее со своим описанием относительности в третьей главе. Тем не менее важность этого материала — состоящая как в описании развития социального опыта и научной гипотезы, так и в наброске более широкой теории, в направлении которой он двигался, — видимо, полностью оправдывает его публикацию в том единственном виде, в котором его теперь можно сделать доступным нам.

Я глубоко признателен моему коллеге профессору Блейку и мисс Натали Уошберн за их любезную помощь в подготовке рукописи к печати. Указатель к книге подготовлен м-ром Ф.К. Баллейном.

Артур И. Мерфи
Провиденс, шт. Род-Айленд
Апрель 1932 г.

Введение

В названии, выбранном м-ром Мидом для этих лекций, — «Философия настоящего» — есть поучительная двусмысленность. Термин «настоящее» не относится здесь непосредственно к нынешней ситуации в философии, скорее он относится к статусу любого объекта, когда он нам является и пока он нам является. Если все существующее в некотором подлинном смысле временно (а с этим, похоже, согласятся сегодня многие философы), то точку его опоры в реальности мы обнаруживаем в том настоящем, в котором оно не просто было или будет, но действительно есть, в полном и категоричном смысле. В темпоралистской философии времена глагола «быть» должны приниматься всерьез, и теория м-ра Мида есть, помимо всего прочего, философия природы в настоящем времени. Она стремится понять мир как сосредоточенный в настоящем и локализовать прошлое и будущее, значения и возможности в их функциях по отношению к нему. Так, увидеть прошлое как прошлое — значит увидеть его, когда оно истекло относительно настоящего, прошлым которого оно является. То, чем оно или что-то еще претендующее на существование могло бы быть независимо от своей временной соотнесенности, эмпирически исследовать невозможно, а если м-р Мид прав, то и не нужно.

Вместе с тем философия бытия в настоящем есть также, в совершенно реальном смысле, философия наших современников. «Процесс», «развитие» и «возникновение» стали в новейшей мысли модными словечками, и хотя сегодня эти веяния уже не так сильны, как десять или даже пять лет тому назад, они все еще представляют для нас главенствующую тему. Лекции м-ра Мида вряд ли займут место в кругу самых популярных проявлений «духа времени», но дают нам

необычайно пытливый и самостоятельный анализ его основных тенденций. Здесь мы находим темпоралистскую философию, берущую на себя интеллектуальную ответственность. Те, кто «принимают время всерьез», найдут в ней продуманную и последовательно темпоральную точку зрения для определения того, какой вклад в нынешней философской ситуации может внести «философия настоящего» в конструктивную и согласованную теорию реальности.

1

В этой теории есть три взаимосвязанных тенденции, каждая из которых играет свою особую роль в целостном взгляде. Постановка самой проблемы и многие из характерных линий ее развития определяются прагматической теорией знания, которую Мид отстаивал в своих прежних работах и которая здесь, после краткой переформулировки (с. 46–47 наст. изд.), берется за основу для всего, что последует дальше. Ее влияние очевидно (1) в установлении философских альтернатив, между которыми должен быть сделан выбор, и (2) в месте, отводимом «опыту» как конечному референту всех притязаний на знание.

(1) По Миду, целое множество традиционных теорий, укорененных в ложной эпистемологии, интерпретируют объекты, к коим отсылает знание, так, что помещают их «вне опыта», не просто в том тривиальном смысле, что считают их чем-то иным, нежели «непосредственными данными сознания», а в «метафизическом» смысле исключения из их перманентной и автономной реальности существенных свойств этого мира общего опыта, в котором имеют место эксперимент и верификация. Когда такие объекты возводятся в ранг уникальных объектов познания, опыт, отпадая от такой реальности, становится «всего лишь видимостью», и экспериментальное удостоверение, которое фактически могут получать наши идеи, ста-

новится нерелевантным для той трансцендентной достоверности, на которую они предположительно претендуют. В противоположность всем таким теориям, прагматисты сочли, что знание относится не к «предшествующей» или «конечной» реальности, а к направлению активности в совместном опыте и к объектам, поскольку они организуют такую активность вокруг значимых целей совместного действия. Например, в критике Мида, обращенной против пространства-времени как «метафизической» реальности, читатель увидит, что этот известный вопрос он внес в философию науки без существенного изменения базовой дихотомии.

(2) М-р Мид настаивает, что взгляд второго типа должен защищать свое верховенство, утверждая, что сам опыт — как просто «наличествующий», «имевший место» или обладаемый — не имеет дальнейшей референции, что в статусе опыта как такового нет значимой философской проблемы. А так как сознание с его использованием идей и значений заключает в себе такую проблематичную референцию, то м-р Мид утверждает далее, что сознание есть развитие в сфере опыта, а не финальная и все содержащая в себе форма нашего отношения к нему. Этот более широкий опыт — мир, который просто «есть в наличии» и в отношении которого не возникает проблемы внешней или трансцендентной референции — является основополагающим для взгляда м-ра Мида и повсеместно им полагается.

Прагматизм как философия обычно стимулировал своих приверженцев действовать в двух направлениях. Во многих случаях первостепенным был полемический интерес; здесь предметом пристального внимания стали грехи и «псевдопроблемы» эпистемолога. Вряд ли будет несправедливо заметить, что хотя эта критика сыграла важную роль в некоторых старых

спорах, сама по себе она остается все же слишком замкнутой на тех самых проблемах, правомерность которых она отрицает, обещая предложить что-то лучшее для будущего. Но когда прагматисты перенесли свою воодушевленность опытом на факт как таковой и привлекли внимание к детальной структуре некоторых объектов знания, вклад их был выдающимся. Именно этим конструктивным прагматизмом и был в первую очередь озабочен м-р Мид. Его подход к специальным проблемам социальной психологии и истории научных идей вообще не был подходом философа, ищущего боеприпасы для подкрепления какого-то особого тезиса; это был подход скрупулезного и оригинального исследователя, видящего предмет в его конкретных деталях и позволяющего ему поведать свою историю.

Эта вторая тенденция в его мысли особенно ярко проявляется в его преданности «исследовательской науке» и тем объектам и методам, которые она предполагает. Он настолько решительно настаивает, в пику феноменализму и релятивизму, на том, что материальные объекты, используемые в физическом эксперименте, нельзя ни свести к чувственным данным, ни проигнорировать как простые видимости, что это требует защиты от подозрений, будто он «гонится за удовольствиями материализма» (с. 191). При обсуждении научных объектов в третьем дополнительном очерке им движет вовсе не материализм, а здравый смысл, соединенный со здоровым уважением к деталям процесса физического открытия, в противоположность огульным обобщениям. И его работа в области социальной психологии представляет уникальную ценность как вклад в социальные науки совершенно независимо от любой конкретной философской интерпретации, которую ей можно было бы дать.

Третий и, наверное, главный элемент этих лекций не вытекает, однако, ни из прагматизма, ни из иссле-

довательской науки, а составляет часть той философии природы, которая, несомненно, будет считаться оригинальным вкладом англо-американской философии 1920-х годов. Книга «Пространство, время и божество» Александера стала пионерской работой в этом переходе от проблем познания — «реализма», «прагматизма» и «субъективизма» — к размышлениям о пространстве и времени и, в конце концов, к метафизике и категориям. Развитие философии Уайтхеда от ее ранней озабоченности «чувственными данными» и логическими конструкциями — через «Понятие природы», с его «объектами» и «событиями», — к смелым размышлениям, содержащимся в «Процессе и реальности», ярко резюмирует тенденции этого периода. И принципы этого развития совершенно естественны. Различные теории знания, бывшие фазами «бунта против дуализма», стремились так или иначе объективировать те черты опыта, которые дуалистическая философия рассматривала как сугубо субъективные. Это означало, что то, что до сих пор размещали в «разуме», должно теперь найти свое место в «природе» и что природа должна быть соответствующим образом реконструирована. И наконец, при распространении относительности на объективный мир от критицизма потребовались такие понятия, как «перспектива», «временная система», «социальность» и т.п., чтобы показать, как эти понятия, очищенные от их сугубо субъективных коннотаций, могут занять место в системе категорий в качестве вездесущих характеристик реальности. «Философия настоящего» — важный вклад в это великое начинание.

Ясно выраженное намерение этой поздней фазы философии м-ра Мида состоит в том, чтобы показать, что «социальный и психологический процесс — это всего лишь случай того, что происходит в природе, если природа есть эволюция». Принципы прагматиз-

ма ни в коем случае не отбрасываются, но обобщаются, чтобы включить весь процесс эволюции, и внутри этого более общего развития отлнчительно человеческие, или сознательные, стороны «социальности» и относительности понимаются как особые случаи процесса, охватывающего собой всю природу.

Старые проблемы здесь проявляются снова, но иначе. Поверхностно мыслящий читатель, возможно, найдет в первой главе лишь возрождение памятного спора о нашем знании прошлого. На самом же деле эта теория имеет основания не в специальных требованиях познания или верификации, а в том, что значит быть прошлым, и в статусе эмерджентности и новизны в естественных процессах. Наиболее оригинальная черта этих лекций — смелое привнесение «социального» в то, что является по крайней мере философией природы и, если такое название не покоробит прагматиста, может быть также названо метафизикой.

Жаль, что м-р Мид в силу своей кончины не довел до конца проект, к которому третья и четвертая главы являются в лучшем случае наброском. Можно ли было последовательно довести его до конца, оставаясь в пределах прагматистской теории знания, — тоже вопрос. Мне лично представляется, что «социальность», как и «чувствование» у Уайтхеда, является по существу слишком субъективной категорией для той метафизики процесса, которая их обоих заботила. Однако Мид, как и Уайтхед, и Александер, первым ступил на эту территорию изменения и относительности, которую философия сегодня определенно должна освоить, и его карта этой страны, какой бы она ни была по необходимости неполной, вполне может обрести непреходящую ценность для тех из нас, кто следует, пусть и менее авантюрно, тропами, которые он нам открыл.

Содержание лекций можно разделить следующим образом. В них есть теория о природе времени и эмерджентности, теория об относительности и ее социальных импликациях, а также их синтез в теории эмерджентности как социального и социальности как характеристики эмерджентной эволюции. В этом разделе и в двух следующих мы рассмотрим эти темы по порядку.

Настоящее должно быть принято как локус реальности. Это означает, я полагаю, что рассматривать что-то как реальное значит рассматривать его как существующее в настоящем или в связи с настоящим. Каков же тогда по отношению к любому настоящему статус его прошлого? Это не вопрос о том, чем оно было, когда было настоящим, ведь тогда оно не было прошлым и не находилось в этом отношении, благодаря которому оно приобретает статус прошлого. Прошлое некоторого события — это не просто предшествующее настоящее. Таков основной тезис лекций м-ра Мида, но он не часто получает настолько ясное выражение, как в следующей формулировке: «Когда кто-то вспоминает дни своего детства, он не может войти в них так, как он был в них тогда, вне их связи с тем, чем он стал; а если бы он смог это сделать, т.е. если бы смог воспроизвести опыт так, как он имел место тогда, то он не смог бы его использовать, ведь это предполагало бы, что он не пребывает в том настоящем, в котором это использование должно происходить. Вереница настоящих, внятно существующих как настоящие, никогда не образовала бы прошлого» (с. 73).

Отличительная характеристика прошлого в его связи с настоящим — это явно его неотменяемость. Как обуславливающее настоящее, как делающее возможным его появление прошлое должно быть уже

определенным. Оно выражает устойчивое условие, которому настоящее должно соответствовать и без которого оно не могло бы стать таким, какое оно есть. И это означает не просто предшествующее происшествие, а причинную детерминацию, или, как склонен говорить м-р Мид, «продолжение связей». Прошлое — это то, из чего настоящее выросло, и неотменяемость (здесь можно было бы сделать отсылку к Канту), имеет критическое значение для такого обусловливания.

И все же к этому продолжению идентичных связей дело никогда не сводится. Доктрина эмерджентности побуждает нас считать, что настоящее есть всегда в каком-то смысле новое, внезапное нечто, не детерминированное полностью тем прошлым, из которого оно выросло. Настоящее, если в нем вообще реально есть новизна, будет содержать в себе элемент темпоральной и каузальной прерывности. Новейшая квантовая физика научила нас думать, что такая неопределенность вполне согласуется со строгим физическим анализом (с. 59). Но как возможно примирить эту новизну с научным детерминизмом?

Ответ на этот вопрос устанавливает основополагающие принципы теории. Ни до того как появиться, ни в момент своего появления эмерджентное не вытекает из прошлого. Это прошлое, относительно которого оно было новым, нельзя сделать содержащим его. Но после того как оно уже появилось, мы пытаемся реконструировать опыт в его терминах; мы изменяем нашу интерпретацию и пытаемся помыслить прошлое, из которого следует упорствующий элемент, и устранить тем самым прерывный аспект из его нынешнего статуса. Стало быть, его внезапность устраняется новой точкой зрения, новым множеством законов, исходя из которых условия нашего нового настоящего могут быть поняты. Эти законы не могли быть частью любого прежнего прошлого, ведь в настоящих,

относительно которых существовали эти прошлые, не было такого эмерджентного элемента. Допускать одно-единственное определенное прошлое, с которым каждое настоящее должно полностью соотнобразовываться, значит полностью отрицать эмерджентность. Но в то же время толковать эмерджентное как постоянно чуждый и иррациональный элемент значило бы оставить его абсолютной загадкой. Оно может быть рационализировано *post factum*, в новом настоящем, и в прошлом этого настоящего оно вытекает из предшествующих условий там, где прежде оно не вытекало вообще. Таким образом, как условие настоящего прошлое будет меняться в зависимости от меняющегося настоящего, и в ходе эволюции «позади нас будут вырастать» новые прошлые, поскольку каждое настоящее «выделяет и в каком-то смысле отбирает то, что сделало возможной его специфику» (с. 65).

Есть ли какое-нибудь противоречие между этой новизной прошлого и его принципиальной неотменяемостью? Никакого противоречия, ведь они относятся к прошлому в разных смыслах. Неотменяемое прошлое — это прошлое любого данного настоящего, то, которое отвечает за его появление. Его определяющие условия будут в идеале, если не действительно, целиком определяемыми в настоящем, с которым оно соотносится. Но когда возникает новое настоящее, вместе с эмерджентными фактами, которые не содержались реально в прежнем настоящем, его определяющие условия и, следовательно, его прошлое с необходимостью будут иными. Итак, детерминизм относится к прошлому, предполагаемому в любом настоящем, а эмерджентность в связи с одним из таких настоящих, имеющим свое прошлое, — к другому прошлому.

У этой гипотезы, по мнению Мида, есть два основных преимущества. Во-первых, она объясняет установку ученого-исследователя по отношению к описываемым данным — установку, которая в противном

случае совершенно парадоксальна. Законы любой науки в каком-то смысле реконструируют прошлое, из которого выросли данные ей элементы. В установление прочных законов закладывается много допущений, и для ученого предположить, что настоящее не вытекало из прошлого в рамках установленных им законов, значит отрицать их адекватность интерпретируемым в них данным. Коль скоро это касается любой области, наука стремится быть детерминистской. Вместе с тем это «вытекание» настоящего из прошлого целиком соотносится с данными, на которых базируется интерпретация, и ученый невозмутимо ждет новой интерпретации и, стало быть, нового прошлого, соотносящегося с эмерджентными данными, которые принесет ему будущее. И это сочетание относительного детерминизма с будущей реконструкцией, присутствующее у ученого-исследователя, относится, согласно этой теории, также и к природе, которую он описывает.

Во-вторых, этот взгляд гармонирует с внезапным появлением новизны в опыте и реорганизацией опыта в ее терминах. Этой теме посвящен второй дополнительный очерк. Даже те, кто самым безжалостным образом делят природу надвое, должны признать, что в опыте данные могут появляться как элементы, вторгшиеся в мир, в котором, при его нынешней конституции, для них места нет. Они находятся в противоречии с этим миром, как он в данный момент интерпретируется, и ставят проблему для реконструкции. Толковать мир исключительно в терминах обуславливающих объектов, которые данный период выделил как постоянную основу становления, значит списать новизну на всего лишь субъективный опыт. Однако в случае данных, релевантных его проблемам, ученый не производит такого раздвоения. Скорее он относится к данным как к предварительно выделенным в мире, который в данный момент их не объясняет, но претендующим

на принятие в реконструированный мир, которое может сделать отвергавшиеся ранее факты самой сердцевиной его интерпретации. Так, например, обстоит дело со статусом эксперимента Майкельсона — Морли сначала по отношению к классической механике, а затем в теории относительности. Внутри опыта непрерывно возникают новые объекты, и новое настоящее переориентирует устоявшиеся условия прежней эпохи в свете своих открытий. И если прошлое есть эта переориентация установившихся условий по отношению к данным настоящего, то прошлое эмпирически меняется по ходу эволюции. Это эмпирическое описание было частью философии м-ра Мида многие годы. Новизна настоящего объяснения вырастает из его соответствия структуре временной реальности как таковой, т.е. связи детерминирующего прошлого с эмерджентным настоящим.

В этом пункте читатель, по всей вероятности, возразит, что здесь явно изменяется всего лишь наше видение, или интерпретация прошлого. Само по себе прошлое, разумеется, не изменяется оттого, что мы стали по-новому на него смотреть. Но именно это различие весь анализ м-ра Мида и пытается преодолеть. Для темпоралистской философии прошлое «само по себе» — не прошлое вообще; основанием его прошлости является его связь с настоящим. И эмпирически эта связь является каузальной. Если становление реально, то эта каузальная связь никогда не бывает такой, чтобы при этом исключалась эмерджентность. Когда проявляется эмерджентность, из нее вытекает новая перспектива прошлого, новая соотнесенность — соотношенность, являющаяся для новой ситуации естественным фактом, хотя она никогда не могла явить себя в прошлом. И новым здесь оказывается как раз то, как нечто, бывшее в былом настоящем просто новым и внезапным, стало частью мира каузальных объектов и, следовательно, частью прошло-

го, через которое они оказывали, как предполагается, свое воздействие. Эта связь реальна, и порождаемое ею перспективное прошлое, прошлое нового настоящего, есть реальное прошлое этого настоящего, и только для какого-то настоящего прошлое вообще может быть реальным.

Наиболее объективную версию этого тезиса м-ра Мида мы находим во второй главе — в противопоставлении прошлого, соотнесенного с настоящим, и прошлого как абсолюта. Он утверждает, особенно в критике Александра, что прошлое, которого требует физика, есть лишь выражение тождественных связей в природе, а не предшествующая среда, существующая сама по себе и порождающая в своем обособленном бытии всю последующую реальность. Пространство-время в метафизике Александра представляет собой, видимо, математическую структуру, извлеченную из связи с интерпретируемыми ею физическими данными и ставшую, во всей ее абстрактной независимости, метафизической матрицей, из которой должны каким-то образом выводиться все тонкости природы. Именно этим, на взгляд Мида, и было бы прошлое «как таковое»: обуславливающей фазой природного процесса, превращенной в метафизическую субстанцию. Поиск такой субстанции не исключается для тех, кого она может интересовать. Но ученому-исследователю нет никакого дела до такого рода вещей.

Таким образом, мы, видимо, открыли в самом временном переходе уникальный вид относительности и множество того, что мы описываем теперь как «временные перспективы», или «системы». Каждая такая система задается временным центром, из которого организуется ее связь с прошлыми событиями, и различаются они прежде всего тем, что то, что будет внешним, контингентным и, следовательно, «эмерджентным» для одной из таких точек зрения, будет «вытекать из» и, следовательно, отражаться в прошлом

другой. Как связаны друг с другом такие перспективы, и как происходит переход из одной в другую? Ответ на этот вопрос можно дать только тогда, когда мы разберемся в природе относительности и ее социальных импликациях.

3

С точки зрения Мида, в наиболее критической своей форме проблема относительности проявляется в теории физической относительности. Его внимание, как заметит даже самый случайный читатель, приковано главным образом к «пространству-времени Минковского». Проблема явлена здесь в характерной форме, и что бы мы ни думали по поводу ее решения, она ставит вопрос, с которым неизбежно сталкиваются философы, работающие над этой темой. Что сделала, по всей видимости, теория относительности, так это подорвала существовавшую для научного исследования верховность мира материальных объектов, в терминах которого привыкла верифицировать свои теории экспериментальная физика. Этот мир, как доказывает Мид в первом дополнительном очерке, никоим образом не есть мир чувственных данных или частных впечатлений. Это мир твердых макроскопических объектов, которые можно измерять и с которыми можно обращаться сообща, — объектов, в которых при меняющихся условиях можно идентифицировать постоянные и относительно обособляемые характеристики, переходя главным образом от зрения к осязанию, от дистанционных к контактным ценностям в том, что Мид называет «областью манипулирования». Верность Лавджоя свойствам, которыми обладает объект «в своих пространственно-временных пределах», дает красноречивое свидетельство той значимости, которую придают таким сущностям здравый смысл и его эпистемологические пророки. Это конечные, стандартные свойства в том смысле, что они дают неоспа-

риваемые критерии, с которыми могут быть сверены сомнительные части опыта. Конечно, эпистемология, делающая проблемой весь опыт, найдет эти факторы такими же сомнительными, как и прочие, но ученого-исследователя эти соображения не сильно заботили. Его «материализм» был не безрелигиозной метафизикой, а экспериментальной опорой на контактные ценности в измерении. Если они тоже «всего лишь относительно» и имеют силу лишь относительно чего-то другого, что само по себе никогда не может быть схвачено в эксперименте, то, видимо, мы разместили наш физический стандарт надежности явно вне материального мира. Прагматист вряд ли сможет обойти вниманием такой кризис.

Так вот, Миду представляется, что именно это и сделала доктрина пространства-времени, воспринятая в простом и реалистическом смысле. Она подрывает авторитет материального объекта и его место в научном эксперименте, не ставя на его место ничего осязаемого. Свидетельства этого тройки. (а) Разрушается различие пространства и времени. А для обычных материальных объектов это различие существенно. «Меж тем с точки зрения относительности никакой физический объект не может быть изолирован от того, что с ним происходит» (с. 186). В нем нет постоянства, независимого от его изменений. Опять же, (б) ценности, которые придаются новому физическому объекту, не совпадают с теми, которыми материальный объект может обладать сам по себе; они сущностно относительны. «Энергия, как и пространство-время, — преобразовательная ценность» (с. 189). Это означает, что свойства, через которые мы прежде идентифицировали наши удостоверяющие объекты, не постоянны, а изменчивы, и «метафизический вопрос стоит так: может ли вещь, обладающая меняющимися пространственно-временными и энергетическими параметрами, быть тождественной при разных парамет-

рах, когда у нас есть, по-видимому, только эти параметры, по которым вещь можно определить?» (с. 121). Физика в прошлом довольно часто приписывала мнимо неотъемлемым качествам сугубо относительный статус, но здесь все в корне меняется. Ибо (в) больше невозможно интерпретировать дистанционные ценности в терминах возможного контактного опыта или считать свойства, которые вещь имеет там, где она есть, уникально ее характеризующими. Пространственные и временные ценности, коими объект обладает на расстоянии в условиях относительного движения, не будут даже в идеале тождественны ценностям, которые показало бы его измерение в его локальных пространственных и временных единицах. Не можем мы и просто скорректировать дистанционные ценности — данные нам через сигналы — ценностями, которые открыл бы покоящийся на самом теле наблюдатель. Ведь его расчеты выходят точными только тогда, когда он вменяет нам замеренные ценности, которые были бы опровергнуты опытом в нашей манипуляторной области, т.е. при наших локальных временных и пространственных стандартах. Таким образом, в теории относительности дистанционный опыт, выраженный в световых сигналах, начинает обретать самостоятельную ценность, не сводимую к контактному, или локальному, ценностям. Об этом отзывались с энтузиазмом Бруншви́г и с подозрением — Бергсон, приходящий к заключению, что приписываемые времена, определяемые на расстоянии, реально вообще не принадлежат их объектам.

М-р Мид не делает такого негативного вывода. Он довольствуется тем, что следует теории, куда бы она ни повела, и принимает пространство-время за все, что бы ни находил в нем ученый, в противоположность метафизику. Значит ли это, что нам надо истолковать измеряемые ценности физических объектов как «субъективные» и установить вне опыта, в

котором мы измеряем и манипулируем, новый объект, состоящий в таком же отношении с первичными качествами, в каком первичные традиционно состояли со вторичными? Пространство-время было бы тогда своего рода ослабленным материальным объектом без материальных свойств. Альтернативой был бы пересмотр всей связи опыта с его «реальными», или стандартными объектами, по отношению к которой проблема, касающаяся пространства-времени, является лишь частным случаем. Такой пересмотр и является вкладом м-ра Мида в горячо обсуждаемую тему относительности. Характер его вклада лучше всего могут проиллюстрировать примеры, почерпнутые, во-первых, из известного типа социального взаимодействия, который будет служить моделью для всего объяснения, во-вторых, из физической области, где нормально функционировала научная верификация, и, наконец, из самой теории относительности. В каждом случае надо показать, что корректировка и организация относительных опытов в терминах «реальных» объектов, к которым они отсылают, предполагают не неэмпирическую реальность, которой они должны как-то соответствовать, а скорее способ действия, который связывает прошлое и будущее с настоящим с точки зрения, или перспективы, его самого широкого социального значения.

В обыденном социальном опыте существует значительная разница между тем, что человек *имеет*, и тем, чем он *владеет*. Обладание может на девять десятых состоять из закона, но никогда не состоит из него целиком. Между тем этот дополнительный факт, добавляющийся к простому обладанию, не может быть воплощен в сугубо эгоцентрическом опыте; он предполагает соотносительность с такими правами, которые были бы признаны в суде. Права собственности являются объектами наличного опыта постольку, поскольку любой индивид обозревает свою ситуацию как владе-

лец в связи с правами других и требованиями закона и соответственно реагирует. Чтобы понять неявные смыслы своего поведения с этой точки зрения, он должен видеть их так, как видят их другие, и должен, как следствие этого, прийти к принятию социально объективной установки относительно собственного поведения. Значения, которые придает опыту эта связь, — реальные и важные факты. Но они возникают только для индивида, который, как выразился бы Мид, может реагировать на собственные реакции в роли других и принять достигнутую тем самым точку зрения как авторитетную для направления его собственной деятельности.

Итак, «принять роль другого» — значит увидеть весь опыт в новом контексте, в терминах того, что он означает или предвещает относительно объектов — или целей (objectives), — которые эта точка зрения определяет как центральные. Чем шире такая точка зрения охватывает прошлое и будущее, тем больше она будет трансформировать опыт в субстанцию вещей чаемых и свидетельство вещей невидимых и тем больше она в первую очередь будет просвещать действие, давая настоящую релевантность и ценность явлениям (occurrences), не данным буквально в непосредственном опыте. Обычная функция стандартных объектов состоит в том, чтобы опосредовать действие, внося в круг осознанного отбора альтернативы, которые только эта более широкая точка зрения может охватить. Процесс принорования, посредством которого ребенок учится играть различные роли в социальной ситуации и в конечном счете оценивать себя как ответственное лицо в свете ценности, которую придали бы его поведению другие и которую его сознание, действуя в их лице, принимает теперь как авторитетную, очерчен в последнем очерке. Это ключ ко многому из того, что является в предыдущих очерках наиболее трудным и наиболее оригинальным.

Во втором очерке содержится попытка распространить это описание объективности как «принятия роли другого» на наше познание физических объектов. Требования ситуации — если здесь подойдет такая аналогия — будут следующими. 1. Подлежащее объяснению значение должно быть таким, каким индивидуальный опыт не мог бы обладать сам по себе, или в своей непосредственности; оно должно возникать из взаимодействия с внешними силами. 2. Тем не менее для индивида должно быть возможно проводить в опыте различие между тем, что является просто его собственным вкладом, и тем, что, в свою очередь, может быть идентифицировано с действием другой стороны транзакции. Чтобы реагировать в роли другого, он должен быть способен идентифицировать некоторую собственную активность, через которую и в терминах которой он может действовать в своем лице. 3. Точка зрения, которой он таким образом достигает, должна стать в опыте настолько авторитетной, что значения, принимаемые данными в связи с ней, будут показателем их объективной ценности. 4. Наконец, опыт, опосредованный такими значениями, будет включать прошлое и будущее, тем самым вводя в настоящее условия и последствия альтернативных реакций, между которыми индивид должен выбирать. Ввести условия действия в сферу сознательного обдумывания так, чтобы мы могли направлять поведение в соотношении с ними, — задача всего этого развития.

В нашем познании физических вещей мы можем проследить каждый из этих факторов. 1. Отличительная природа физической вещи — «обладание внутренностью», по словам Мида, — не является характеристикой, которую может открыть наш опыт, взятый в индивидуальном аспекте. Например, мы не открываем вначале внутренность собственных тел и не интерпретируем затем других по этой аналогии. Тело известно как физическая вещь только в связи с другими физиче-

скими телами. «Генетически ребенок продвигается от периферии к своему телу» (с. 162). 2. Именно переживание сопротивления приносит необходимую внешнюю референцию. Толкая вещи или сопротивляясь им, организм может считать собственную активность идентичной по роду воздействию вещи на него. Действие и противодействие равны и противоположны. Таким образом, сопротивляясь вещи, мы ведем себя по отношению к ней так, как она ведет себя по отношению к нам. «Внутренность» физической вещи — то, чем она является сама по себе и в собственном лице, — есть то, что мы находим в контактном опыте, в «манипуляторной области». В случае цвета, звука и т.п. нет такой устойчивой тенденции приравнивать вещьность вещи к ее воздействиям в опыте. 3. Теперь, если мы допускаем, что реальную и стандартную природу опыта составляет то, каким он был бы с точки зрения такого контактного опыта, т.е. каков он в собственных пространственно-временных пределах, то мы можем судить соответственно о его более непосредственных аспектах. Именно в подведении к объекту, как он существует там, где он есть, обретает значимость контактный опыт. Здесь мы имеем опорную точку, реляционный фокус значений, который, если мы действуем в роли физической вещи, становится авторитетным в противовес другим перспективам, или точкам зрения. «Реальные» форма и размер, например, в «манипуляторной области» определяются точнее, чем их можно было бы определить на расстоянии. На мой взгляд, есть некоторая двусмысленность в употреблении м-ром Мидом термина «сопротивление» как применительно к осуществлению контактного опыта как такового, так и применительно к авторитету, который приобретают такие контактные ценности в направлении или торможении наших реакций на вещь. Но главная его мысль понятна. Наш опыт вплетен во множество контекстов. Тот из них, который мы принимаем в каче-

стве стандарта, будет определять направление активности и ее значения. Именно в видении мира, каким он был бы для полностью осуществленных ценностей вечности, этот стандарт фактически и претворяется.

4. Способность человека-животного открывать такие значения преобразует наличный опыт в мир объектов, чьи потенциалы являются возможностями действия. Область такого действия как раз и объясняет, и обосновывает ту трансцендентность непосредственности, которую эпистемологи так часто подчеркивали, но так редко понимали.

Применить все это к теории относительности теперь сравнительно легко; читатель найдет это применение в четвертой главе и в менее сложном виде в четвертом очерке, где оно изложено довольно прямолинейно. Опять же мы имеем относительные ценности, и если Мид прав, то они сущностно социальны в том смысле, что содержат смысловую референцию к тому, что существует вне «временной системы», в которой они учитываются. Опять же есть поиск чего-то идентичного, что позволило бы индивиду «принять роль другого» и интерпретировать опыт не только с собственной точки зрения, но и с точки зрения, скажем, человека на Марсе. Однако здесь масштаб генерализации явно увлекает нас за пределы физического объекта и его ценности сопротивления. Мы оказываемся в царстве «генерализованного другого», установки, позволяющей нам переходить от любой физической перспективы к любой другой, занимая каждую — или любую из них — в этом переходе и идентифицируя в каждой только то, что фактически идентично; и эта формула оправдывает переход из одной перспективы в другую. Итак, мы имеем в пространстве-времени не любопытный и недостижимый новый род объекта, а генерализацию той социальной объективности, которая расширяет нашу общую способность видеть себя так, как нас видят другие, включая в нее взгляды

наших звездных соседей. В этом контексте значения имеет свой локус и свою функцию мир пространства-времени. И его важность вовсе не дискредитирует физический объект, когда последний видится в собственных пределах. Выводы научных исследований не должны дискредитировать объекты, с которыми они работают и через которые их выводы проверяются. Но если пространство-время понимать не как метафизического господина над физическим объектом — не как «реальность», лишь «тенью» которой является его относительное бытие, — а как дальнейшее развитие «сообщества интерпретации», ограниченным, но ценным выражением которого является сам физический объект, то они вполне совместимы. Тогда мы можем принять теорию относительности как фазу — не обязательно, конечно, финальную — того процесса, посредством которого человек достигает социальной объективности через организацию относительных перспектив.

4

Теперь мы готовы к самому смелому новшеству в этой теории. Может ли социальность — до сих пор рассматриваемая в специфически человеческом ее аспекте — быть генерализирована так, чтобы охарактеризовать весь ход естественного развития? Мы обнаружили, что относительность в природе проявляется в перспективах, предполагаемых эмерджентностью. И, видимо, требовалась некоторого рода организация таких перспектив. Если бы это переприспособление оказалось — на всех уровнях развития — некой формой социальности, то нам удалось бы связать социальность со всем временным процессом и вернуть разум во всем объеме назад в природу. Таким образом, конечная задача Карусовских лекций — «представить разум как эволюцию в природе, в которой находит наивысшее развитие социальность, являющаяся принципом

и формой эмерджентности» (с. 127). Эта окончательная гипотеза, насколько я могу судить из разговоров с м-ром Мидом, обрела форму только в ходе написания лекций. Она остается самой впечатляющей и, в том виде в каком мы ее находим, самой трудной частью его философии.

Социальность эмерджентности и происходящая через эмерджентность эволюция социальности к более высокому и более сложному объективному выражению — параллельные темы в этой гипотезе.

а. В каком смысле эмерджентность социальна? В эмерджентности присутствует, как и в теории относительности, множественность «систем», т.е. отдельных точек зрения, и следствием этого является то, что «один и тот же» объект должен находиться в нескольких разных системах сразу. Система физических связей — одна из них, с собственной организацией опыта; система витальных связей включает в качестве существенных элементы, с чисто физической точки зрения внешние и контингентные. Ни одну из них нельзя свести к другой, поскольку витальная реально эмерджентна и дополнительна к чисто физической, а физическая, в ее научном понимании, определяется исключительно связями, в которых уникально органическим чертам мира нет места. И все же живое животное принадлежит к обоим порядкам связи и пребывает сразу в обеих «системах». Сознание дополняет чисто органическое поведение и несводимо к нему, тем не менее ощущение является органическим событием и в то же время предполагается в той системе значений, которая, объективируя возможную будущую деятельность организма, составляет отличительно сознательный аспект опыта.

Социальность — это «ситуация, в которой новое событие находится одновременно в старом порядке и в новом, возведенном его пришествием. Социальность — это способность быть несколькими вещами

сразу» (с. 92). Но в своем динамическом аспекте она есть нечто большее. Новое событие должно не просто пребывать в двух системах; оно должно отрегулировать эту множественность системных связей так, чтобы «присутствие вещи в последующей системе меня[ло] ее характер в предшествующей системе или системах, к которым она принадлежит» (с. 111), в то время как ее старые связи отражались бы в новой системе, в которую она вошла. Она переносит с собой старые связи, но все же в своей эмерджентной новизне отражает уникальность своей новой ситуации на старый мир. «Так, Руссо пришлось обнаружить в гражданине суверена и подданного, а Канту в рациональном существе — издателя нравственного закона и того, кто этому закону подчинен» (с. 95). И, стало быть, дабы довершить картину, монархическая система, из которой возникли гражданин Руссо и рациональное существо Канта, никогда не смогла бы вновь быть той же самой после их пришествия. Переприспособление нового социального порядка к старому — того, который переносился, к тому, который возник, есть «социальность» в самом общем смысле. То, что она тесно смыкается с «реконструкцией» опыта при вторжении новых элементов, описанной в параграфе II, будет очевидно.

Теория относительности оказалась согласующейся с «социальностью» в более узком смысле. В третьей главе м-р Мид пытается подвести ее под полученную им теперь более общую формулу. «Эмерджентным» здесь будет то, что появляется только для какой-то особой перспективы, или «временной системы», и является дополнительным к тому идентичному «перенесению связей», которое выражено в пространственно-временной структуре, общей для всего множества таких перспектив. Движение соотносится с отобранной временной системой, и рост массы, вытекающий из увеличения скорости, будет происходить только

там, где происходит требуемое движение. И это «эмерджентное» движение изменяет физическое свойство объекта — его массу — в той временной системе, в которой оно происходит. Эта аналогия представляется м-ру Миду настолько очевидной, что он истолковывает более ортодоксальные случаи «эмерджентности» в терминах этого. «Эмерджентная жизнь меняет характер мира так же, как эмерджентные скорости меняют характер масс» (с. 108).

Итак, тело, движущееся в одной временной системе, столь же истинно покоится в альтернативной системе; оно находится в одной настолько же, насколько и в другой. И его свойства в любой из них адекватно схватываются лишь тогда, когда мы понимаем его состояние в другой. Так, релятивист может объяснить сжатие Фицджеральда и его физические последствия, лишь приняв допущение, что физически достоверные результаты, достигаемые в альтернативных временных системах, в целом не будут совпадать и что каждый из них, следовательно, должен видаться как относительный, как требующий признания, как одинаково правомерный среди его альтернатив. В этом смысле, когда физик должен быть способен поместить себя в любую из перспектив, теория реально приближается к очерченной всеохватной форме социальности, и возрастание в массе можно приводить как «крайний пример социальности» (с. 95). Чтобы понять это возрастание как относительное, как зависящее от особой временной системы и «эмерджентное» для пространства-времени как такового, мы должны видеть данное событие как в системе, в которой это возрастание происходит, так и в системе, в которой его не происходит, и рассматривать это событие как подлинно являющееся членом каждой.

Когда Мид идет дальше и утверждает, что действительное измерение возрастания массы в одной системе требует использовать в этой системе пространствен-

ные и временные значения, почерпнутые из альтернативной системы (с. 95 и дальше), и, следовательно, что эти две системы «перестают быть альтернативами» (с. 97), обсуждение становится очень запутанным и, если я не понял его превратно, кажется мне ошибочным. Думаю, вряд ли он мог желать сохранить его в его нынешней форме. Между тем основной тезис не обязательно подрывается неадекватностью его детального применения. А основной тезис таков: внезапность эмерджентного процесса отражается в множественности реляционных систем, неустранимо различных, но при этом настолько взаимно предполагаемых в «протекании» (passage), что объект, принадлежащий двум таким «системам» сразу, будет приносить в каждую из них свойства, которыми наделено его присутствие в другой. Процесс переприспособления, в котором объект удерживается в каждой системе через бытие также в другой, и есть социальность.

б. Как социальность эволюционирует? Поскольку м-р Мид полагает, что «появление разума — лишь кульминация той социальности, которая обнаруживается во всем мироздании» (с. 128, 129), то он, естественно, проводит различие между общим принципом этой формы эмерджентности и особым отличительным качеством, которого она достигает в том, что мы знаем как наивысшее ее выражение. С общим принципом социальности мы теперь знакомы. Отличительный характер разума, или сознания, лучше всего виден в противопоставлении его простому органическому поведению, из которого он возник. «Прежде всего живые формы реагируют на внешнюю стимуляцию таким образом, чтобы сохранить жизненный процесс. Особым методом, отличающим их реакции от движений неодушевленных объектов, является отбор. Отбор обусловлен восприимчивостью живой формы... Сознательное животное вносит отбор в область своего реагирования... Жизнь становится сознательной в тех

точках, где собственные реакции организма входят как часть в то объективное поле, на которое он реагирует» (с. 113, 114).

Что значит реагировать на собственные реакции, мы уже увидели. Связями, в которых среда состоит с нашими реакциями, являются ее значения. Реагировать на такие значения, обращаться с ними, а не просто с непосредственными данными как стимулами для поведения, — значит внести в мир, как он переживается в опыте, обещание будущего и урок прошлого. Значения — самая суть того, чем объект реально является, и, видя его через призму его значений, реагируя на то, что он может нам сделать в решающих или стандартных условиях, мы вносим органические ощущения в новый и эмерджентный контекст. Человеческий индивид жив, а также сознателен. Его сознательное поведение организует его ощущения, являющиеся сами по себе просто органическими реакциями, в качества и значения вещей. Это новое место в системе значений изменяет значимость ощущения. И все же такое поведение зависит от жизненных взаимодействий, из которых оно возникло, и эта зависимость мысли от ощущения переносит в сознательную систему отражение ее органических условий. Реагируя на значение своих ощущений, индивид находится сразу в обеих системах.

Высший уровень осознанного опыта — конечно, тот, в котором индивид может постичь значения в их наиболее полной общности и за счет этого распоряжаться столь широким многообразием точек зрения на свой мир, что это позволяет ему выделить ту из них, которая является общей для всех и, следовательно, будет в силе для каждого рационального индивида. Это роль «генерализованного другого», а значения, находимые в мире науками, — те самые значения, которые будут открываться такой безличной точкой зрения. Тем не менее именно в этой безличности точки

зрения индивид становится «персоной» — реальным членом сообщества рациональных существ. Чтобы участвовать в жизни сообщества, он должен видеть себя в качестве участника и реагировать на его права и обязанности как на свои собственные. В его лице он может обозревать «перспективы», порождаемые индивидуальными установками, и связывать их с требованиями общей задачи, в которую все они в равной степени втянуты.

Существует, несомненно, примечательное различие между той общей «социальностью», в рамках которой животное, просто будучи материальным и живым, является «несколькими вещами сразу», а возникающие из такой системной множественности последствия совершенно независимы от всякого осознания ситуации, и более специальной ситуацией, в которой индивид, «принимая роль другого», может видеть себя с разных точек зрения и делать соотношение этих точек зрения частью смысла своего мира. Если м-ру Миду удалось изобразить последнюю ситуацию как естественное «эмерджентное» развитие из первой, то его главная задача выполнена.

Аргумент возвращается в итоге, как и должно быть, к начальной точке. Именно в настоящем проявляется эмерджентная социальность. И теперь мы можем увидеть, что такое настоящее не просто момент времени, произвольно вырезанный из единообразного в иных отношениях «протекания природы». Настоящее — это единство естественного становления; это период, в течение которого может происходить что-то временно реальное. То, что уже было, и то, что может быть, находят свой фокус и актуализацию в настоящей точке зрения, и именно с такой точки зрения креативный интеллект, преобразуя новизну эмерджентности и фатальность простого повторения в некоторую меру как минимум осмысленного развития, привносит в членораздельную и самосознательную экспрессию

всеобъемлющую форму природного процесса. Именно как сцена такого процесса настоящее и есть локус реальности.

Столь оригинальная гипотеза, естественно, вызовет сомнения и создаст колоссальные проблемы. Но здесь не место их рассматривать. Теория должна говорить прежде всего от собственного лица. В этом введении я попытался просто «принять роль другого» и, интерпретируя теорию с ее точки зрения, собрать воедино несколько ее основных идей в таком порядке и такой связи, которые мог бы принять сам м-р Мид, если бы был жив и смог довести до конца задуманную им важную работу.

Артур И. Мерфи

Предварительные замечания

Трудная задача нарисовать читателю карту, на которой перед ним были бы выложены в правильной связи друг с другом основные элементы мысли Джорджа Мида (а именно в этом состоит задача хорошей карты), выполнена во Введении д-ром Мерфи. Для читателя было бы мало или не было бы вовсе никакой пользы, если бы я еще раз прошелся дорогами, которыми прошел он. Есть, однако, в уме м-ра Мида одна черта, которая, если о ней узнать, поможет уберечь читателя от некоторых ловушек, в которые легко угодить, имея дело с оригинальным мыслителем. Хотя м-р Мид был оригинальным мыслителем, у него не было чувства того, что он оригинален. Либо, если такое чувство у него все-таки было, он держал его под замком. Вместо того, чтобы выносить на передний план как новшества те проблемы, которые занимали его самого (а новыми они были даже как проблемы), он предпочитал связывать их с уже утвердившимися идеями и течениями. Превосходный пример этой черты мы находим в прагматической теории знания, на которую указывает профессор Мерфи. М-р Мид, похоже, совершенно не понимал, насколько новой была его собственная концепция; он предпочитал трактовать ее так, как если бы она выросла сама собой и содержала, самое большее, некоторое смещение акцентов в формулировке.

Когда я впервые познакомился с м-ром Мидом — а было это больше 40 лет назад, — главная проблема, над которой он размышлял, касалась природы сознания как чего-то личного и приватного. В 1880–1890-е годы в англо-американской мысли преобладал идеализм, предлагавший готовое решение проблемы сознания. Разум как сознание был сразу и самим со-

держанием мира, и структурными формами этого содержания; человеческое сознание в своем интимном и, по-видимому, исключительно личном аспекте было самое большое вариантом — верным или ошибочным — универсального разума. Я почти никогда не слышал от м-ра Мида, чтобы он прямо выступал против этого взгляда. Полагаю, он никогда не казался ему реальным, несмотря на то, что был официальной доктриной большинства его учителей и в той или иной форме философской концепцией, чаще всего выдвигаемой в философской литературе этого периода. Но когда его пытались к этому взгляду склонить, он, вместо того чтобы вступить с ним в бой, брал за основу то, что этот взгляд никак не затрагивает интересующую его проблему. Даже если бы он был истинным и был принят в качестве такового, он не объяснил бы, как состояния разума, специфичные для индивида, — подобно первым гипотезам первооткрывателя, которые ставят под сомнение прежде принимавшиеся мнения и отказывают в объективности вещам, универсально принимавшимся до этого в качестве реальных объектов, — могут функционировать как источники объектов, которые вместо того чтобы быть приватными и личными, вместо того чтобы быть просто «субъективными», принадлежат общему и объективному миру.

Оглядываясь назад, я могу увидеть, что кажущаяся темнота языка м-ра Мида была обусловлена тем, что он видел проблему в чем-то, что другим умам вообще таковой не представлялось. Не было общего языка, поскольку не было общего объекта референции. Его проблема никак не укладывалась в категории и классификации ни идеализма, ни реализма. Он говорил о чем-то, чего мы остальные не видели. Это лежит вне того, что принято называть «апперцептивными массами». Мне думается, что если бы кто-то достаточно основательно ознакомился с интеллектуальной биографией м-ра Мида в промежуточные годы, то он смог бы выяснить, как практически все его изыскания и

проблемы выросли из изначально преследовавшего его вопроса. Его ощущение роли субъективного сознания в реконструкции объектов, как они переживаются в опыте, и в производстве новых обычаев и институтов было, несомненно, тем самым, что привело его к необычайно широкому и точному знанию исторического развития наук — знанию, которое не останавливалось на деталях открытий, а включало изменения в лежащих в их основе установках по отношению к природе. Интерес к проблеме Я, с одной стороны, привел его к изучению организма как биологической единицы, соответствующей Я, с другой стороны — сделал необходимым то изучение Я в его социальных связях, которое привело его в социальную психологию, область, в которой, как мне кажется, он оказал наибольшее непосредственное влияние через воздействие его преподавания на его студентов. Природа его проблемы была, как можно легко увидеть, такова, что сделала его острейшим образом восприимчивым к доктринам Уайтхеда, особенно попытке включить вещи, обычно относимые к исключительно субъективной области, в саму конституцию природы. Поскольку его проблема была (и это задолго до того, как были услышаны слова «эмерджентная эволюция») в сущности проблемой возникновения нового и его конечной инкорпорации в признанный и теперь уже старый мир, то можно оценить, насколько более основательно он усвоил доктрину эмерджентности, чем большинство тех, кто баловался этой идеей. На этом фоне его генерализация идеи «социальности» и его интерпретация эмерджентности в эволюции приобретают значение, которого они бы иначе не имели.

В недавно опубликованном первом томе работы Пирса можно найти пассаж, который объясняет мне, какого рода оригинальностью отмечен м-р Мид. Пирс говорит: «Крайне трудно привлечь наше внимание к элементам опыта, которые непрерывно присутствуют. Ибо в нашем опыте нет ничего, чему мы могли бы их

противопоставить; а без противопоставления они не могут возбудить наше внимание... В итоге, приходится прибегать к окольным средствам, которые позволили бы нам воспринять то, что лежит под носом и буквально бросается в глаза, чтобы оно, будучи однажды замеченным, стало для нас почти навязчивым». Способность наблюдать обычные элементы, незамечаемые именно в силу своей общности, была характерной для ума Джорджа Мида. Она объясняет трудности, которые были у него с передачей того, что он наблюдал, другим. Философское мышление делается по большей части при помощи отслеживания логических следствий понятий, кажущихся тому или иному мыслителю центральными, и эти дедукции подкрепляются подходящими конкретными данными. Философское мышление м-ра Мида часто — возможно, даже обычно — переворачивает этот процесс. Оно вытекает из его собственных интимных опытов, из глубоко воспринимаемых вещей, а не из вещей, просто им выдуманных, которым затем ищется подтверждение в принятых фактах и расхожих понятиях. Например, его интерес к понятию эмерджентности есть отражение того фактора его интеллектуального опыта, в силу которого постоянно расцветали новые инсайты, которые приходилось потом соединять с тем, что он думал раньше, вместо того чтобы просто заменять старые идеи. Он *чувствовал* в самом себе и эмерджентность нового, и неизбежную преемственность нового со старым. Так он переживал в себе и борьбу идей, гипотез, предчувствий, сначала бывших всецело приватными, вопросом интимной личностной самости, а затем находящих и занимающих свое место в объективном, разделяемом, публичном мире. Его чувство «социальности» как одновременного существования в двух разных порядках имеет, на мой взгляд, что-то общее с комбинацией великой оригинальности и необычайного уважения к другим, отличавшей его личность.

Джон Дьюи

В противоположность тому виду оригинальности, которым отличалось его мышление, я представляю то многое, что, сходя за оригинальную мысль, является всего лишь переработкой — в свете некоторой новой перспективы — интеллектуальных установок, уже в полной мере конвенционализированных, разработкой месторождений, уже открытых, но не исчерпанных как следует другими. Я представляю также, что во многом из того, что кажется похожим на ясность литературного изложения, ясность — всего лишь знакомость, а не что-то свойственное самой мысли. Потеря, которую понесла американская философия с несвоевременной кончиной м-ра Мида, становится еще больше от того, что есть все основания думать, что он был на подходе к тому, чтобы достичь такого владения своими идеями, которое позволило бы легче и эффективнее передавать их другим. Рукопись его Карусовских лекций — за тщательное редактирование которых мы чрезвычайно признательны д-ру Мерфи — вряд ли дает больше, чем спешно подготовленные и очень сжатые заметки. Он планировал их в три-четыре раза расширить, и это расширение прояснило бы мысль, а не просто нарастило число слов. Тем не менее, несмотря на все ограничения, я считаю, что все более широкий круг людей будет все больше находить в его работах то, что много-много лет находили в них его ученики: продуктивный ум самого высшего разряда.

Джон Дьюи

ФИЛОСОФИЯ
НАСТОЯЩЕГО

I. Настоящее как локус реальности

Темой этой лекции будет положение, что реальность существует в настоящем. Настоящее, разумеется, предполагает прошлое и будущее, но им обоим мы отказываем в существовании. Предположение Уайтхеда, что поскольку мнимые настоящие изменчивы во временной протяженности, то можно представить одно настоящее, способное вобрать всю временную реальность, по-видимому, оставило бы нам переход, но элиминировало бы прошлое и будущее. Чем бы оно ни было, это было бы не настоящее, ведь то, из чего оно проистекло, не перестало бы существовать, а то, чему предстояло существовать, уже было бы в этом всеобъемлющем настоящем. В том, сохранился ли бы при этом характер перехода, можно усомниться, но в любом случае сущностная природа настоящего и существования исчезла бы. Ведь настоящее отмечено становлением и исчезновением. Хотя вспышка метеора происходит в наших мнимых настоящих, она вся здесь, хотя бы долю минуты. Раздуть эту долю минуты до всего процесса, фрагментом которого она является, придав ему ту же сплоченность существования, которой вспышка обладает в опыте, значило бы упустить из виду природу ее как события. Такая сводка существования не была бы вечным настоящим, ибо это вообще было бы не настоящее. Не было бы это и существованием. Ибо Парменидова реальность не существует. Существование заключает в себе несуществование; оно происходит. Мир — это мир событий.

Мало проку, или пользы в том, чтобы сначала задавать антиномии, а затем ниспровергать одну с помощью другой или относить постоянство к заранее заданному вневременному миру, а затем делать событие, в котором нет ничего кроме прохождения, субстанциальным элементом существующих вещей.

Качество постоянства, которое нас интересует, заключено в самом существовании, но в противовес ему существует также и изменение. Иначе говоря, есть прошлое, выраженное в неотменяемости, однако в опыте никогда не было прошлого, которое не изменялось бы в чередующихся поколениях. Прошлые, в которые мы впутаны, и неотменяемы, и отменяемы. Бесплезно, по крайней мере для задач опыта, искать опору в «реальном» прошлом, в котором мы делаем постоянные открытия; ведь это прошлое должно устанавливаться в противовес настоящему, в котором появляется эмерджентное, а прошлое, которое должно видаться при этом с точки зрения эмерджентного, становится иным прошлым. Когда эмерджентное появляется, оно всегда оказывается вытекающим из прошлого, но до того, как появиться, оно, по определению, из прошлого не вытекает. Бесплезно настаивать на универсальных или вечных качествах, по которым можно было бы идентифицировать прошлые события независимо от чего бы то ни было эмерджентного, ведь либо мы вообще не можем их сформулировать, либо они становятся настолько пустыми, что не помогают в идентификации. Смысл бесконечности в древней и современной математической мысли иллюстрирует это бессилие.

Остается еще возможность втолкнуть всю настоящую реальность в мир событий в пространстве-времени Минковского, выходящий за рамки наших систем соотношения, а качества событий — в мир мысленных сущностей. Насколько далеко такую концепцию реальности можно логически продумать, я обсуждать здесь не буду. Что мне кажется интересным, так это смысл, который имеет в опыте такое понятие, как неотменяемость.

Не буду тратить времени и слов на изображение движущейся картины историй, сменявших одна другую от мифов первобытных эпох до описаний во «Вселенной вокруг нас» у Эддингтона и Джинса. Замечу лишь, что скорость, с которой эти прошлые сменяют одно другое,

неуклонно растет с возрастанием критической точности в изучении прошлого. В таких изображениях совершенно отсутствует окончательность. Конечно, в нашем методе исследования предполагается, что историк в любой области науки сможет реконструировать то, что было в качестве аутентичного отчета о прошлом. Но все же наш живой интерес обращен вперед, к реконструкции мира, который был, в мире, который будет, ибо мы понимаем, что мир, который будет, не может отличаться от того, который есть, без переписывания прошлого, на которое мы сейчас оглядываемся.

Тем не менее само качество неотменяемости никогда не пропадает. Случившееся уходит в безвозвратность и, каким бы оно ни было, его ускользание в прошлое, видимо, выводит его из-под влияния эмерджентных событий в нашем поведении или в природе. Меняется именно «что было», и этот вроде бы пустой титул неотменяемости прилепляется к нему, каким бы оно потом ни стало. Значимость неотменяемости присоединяется к «что было», но само «что было» неотменяемым не является. С уходом каждого события связана некая окончательность. Эта окончательность добавляется к каждому отчету об этом событии, но вся значимость этой окончательности принадлежит к тому же миру в опыте, к которому принадлежит и этот отчет.

Так вот, это очевидное присоединение окончательности к настоящему дополняется обычным полаганием того, что прошлое, которое нас определяет, *здесь* (*is there*). Истина такова, что прошлое пребывает здесь в своей определенности или вероятности в таком же смысле, в каком здесь пребывает постановка наших проблем. Я исхожу из того, что когниция — и мысль как часть когнитивного процесса — реконструктивна, поскольку реконструкция существенна для поведения разумного существа в мире¹. Это лишь часть более

¹ Более полное изложение этой теории познания см.: *Mead G. A Pragmatic Theory of Truth // Studies in the Nature of Truth / University of California Publications in Philosophy. 1929. Vol. 11. P. 65ff.*

общего положения, что изменения протекают в мире и что мир вследствие этих изменений становится другим. Интеллект — только один из аспектов этого изменения. Это изменение, являющееся частью продолжающегося жизненного процесса, стремящегося к самосохранению. Своеобразие интеллекта состоит в том, что это изменение предполагает взаимную реорганизацию, приспособление организма и реконституцию среды; ведь, если до предела упростить суть дела, любое изменение в организме приносит с собой отличие в восприимчивости и реакции и соответствующее отличие в среде. Именно внутри этого процесса возникает так называемый сознательный интеллект, ибо сознание есть отличие, возникающее в среде вследствие ее связи с организмом в его органическом процессе приспособления, и в то же время отличие в организме, возникающее в силу изменения, произошедшего в среде. Первое мы называем значением, а второе — идеацией. Отражение организма в среде и отражение среды в организме — существенные фазы поддержания жизненного процесса, конституирующего сознательный интеллект.

Значимость сознания я рассмотрю позже, в другой лекции. Сейчас меня интересует только локализация той активности, к которой принадлежит когниция и выражением которой является мысль. В частности, я отличаю существование мира для индивида и социального организма, соответствующее более общему смыслу термина «сознание», от ситуации, соответствующей термину «сознание [чего-то]» (*consciousness of*). Когницию, на мой взгляд, означает последняя. Различие между ними относится к тому же разряду, что и то, которое я предложил провести между проблемой и ее постановкой. Постановка, в рамках которой происходит приспособление, существенна для приспособления и подпадает под то, что относится к «полю сознания» в том смысле, в каком этот термин обычно используется, — особенно когда распознаются импликации того, что пребывает в поле сознания с большей

определенностью. Иногда в этом же смысле используют термин «field of awareness», но он, в отличие от термина «сознание», больше подходит для того, чтобы нести значение «узнавания [чего-то]» (awareness of). Иначе говоря, в знании всегда заключено предположение (presupposition) мира, который есть в наличии и дает основу для умозакljučающего и идеационного процесса когниции. Разумеется, это ограничивает когницию, или «сознание [чего-то]», тем, что содержит напряженность, влекущую к умозакljučаению.

Итак, есть мир, пребывающий во взаимосвязи с организмом и задающий условия для приспособления организма и последующего изменения в этом мире и самого этого мира, и этот мир включает свое прошлое. К каждому вопросу исторического характера мы подходим с некоторым аппаратом, который может быть точно определен, и этот более методично определенный материал документов, устных свидетельств и исторических останков противостоит заданному прошлому, которое простирается назад из вчерашних и сегодняшних воспоминаний и не ставится под вопрос. Мы используем этот аппарат для гипотетических ответов на волнующие нас исторические вопросы и для проверки наших гипотез, когда мы их разработали. Мы, разумеется, понимаем, что любая часть этого аппарата и прошлого, в котором он укоренен, может оказаться под вопросом, но даже самый героический скептицизм в миг своего оглашения не может избежать хранящихся в памяти слов и идей, посредством которых формулируется скептическая доктрина.

В вопросах относительно прошлого подразумевается некоторое заданное прошлое такого рода. И это заданное прошлое расширяет мнимое настоящее. Правда, окончательное согласие между значениями двух документов может находиться в опыте в мнимом настоящем, но только условием его является сравнение документов, проведенное нами прежде. Это сравнение тянется за нами и остается несомненным, пока

кто-то не укажет на содержащуюся в нем ошибку и не поставит его тем самым под вопрос — но и тогда лишь на основе прошлого, своего и других. Возьмем остроумное предположение (кажется, Госсе-отца), что Бог создал мир с его окаменелостями и иными свидетельствами далекого прошлого, чтобы испытать людскую веру, и перенесем это предположение на полчаса назад. Допустим, мир возник с его точь-в-точь теперешней структурой, включая так называемые содержания наших разумов, тридцать минут назад, и у нас есть некое последующее свидетельство (аналогичное фундаменталистским взглядам м-ра Госсе) того, что это произошло. Мы могли бы проверить эту гипотезу только в свете некоторого наличного прошлого, каким бы скучным к этому времени оно ни стало. А это прошлое разрастается до бесконечности, и нет ничего, что бы его остановило, поскольку любой его момент, будучи репрезентированным, имеет свое прошлое, и т.д.

Что мы тогда имеем в виду, когда говорим, что независимо от всякого настоящего было реальное прошлое со всеми его событиями, содержание которого мы медленно и несовершенно расшифровываем? Речь идет, конечно, о тех самых исправлениях, которые мы делаем в наших исторических исследованиях, и о более высокой доказательности того, что было открыто, по сравнению с аргументами в пользу отвергаемого описания. Более высокие степени вероятности и доказательности предполагают, что есть или была некая реальность, которую мы извлекаем на свет. Таким образом, очевидна референция к не подвергаемому сомнению прошлому, на свидетельства которого мы опираемся в своих исследованиях и в решении возникающих проблем. Повидимому, уже само то, что любое принятое описание прошлого, пока никем не оспариваемое, может, как я говорил, быть поставлено под вопрос, предполагает несомненное прошлое, которое служило бы основой для решения всех мыслимых проблем. Давайте пока его допустим, чтобы задать еще один вопрос: входит ли

вообще это прошлое, независимое от любого настоящего, в наши исследования — я имею в виду: в качестве предпосылки, играющей какую-то роль в нашем мышлении? Если бы нам пришлось отбросить эту предпосылку, повлияло бы это как-то на наш аппарат и на его функционирование в историческом исследовании? Конечно, нет, если нас заботят только те проблемы, которые заботят историков в социальной или научной истории. Здесь речь заходит всегда и исключительно о заданном прошлом, из которого возникла проблема; и очертания проблемы, и проверки, которым подвергаются выдвигаемые гипотезы, обнаруживаются в этом заданном прошлом. Как мы видели, это заданное прошлое может быть впоследствии само поставлено под сомнение и сделано предметом обсуждения. Тем не менее возможная сомнительность заданного прошлого никак не сказывается на деле. Иначе говоря, сомнительность всех возможных прошлых никогда не входит в мышление историка. Единственным приближением к ее вхождению в него является требование, чтобы все прошлые прошлые были учтены и вобраны в самую последнюю формулировку. А каждое прошлое прошлое, поскольку оно реконструируется, выставляется тем самым как неправильное. Наш метод подразумевает, что мы как бы движемся к предельной формулировке, пусть и отодвинутой в бесконечность, в которой будут заполнены все пробелы и исправлены все ошибки. Раз мы делаем исправления, то, видимо, должно быть описание, являющееся правильным, и, даже созерцая бесконечное будущее исследовательской науки, занятой своим делом, мы никогда не расстаемся с этим подразумеванием.

Можно сказать и так: наша исследовательская работа состоит в открытии, а открыть можно только то, что уже есть независимо от того, откроем мы это или нет. Думаю, однако, что последнее утверждение ошибочно, если видеть в нем тот смысл, что есть или было прошлое, независимое от всех настоящих; ведь в любом

настоящем с его собственным прошлым может быть и, несомненно, есть много чего, что мы не открываем, а то, что мы открываем или не открываем, будет обретать иной смысл и отличаться по своей структуре как событие, будучи увиденным с какой-то более поздней точки зрения. Нет ли схожей ошибки в концепции исправления прошлой ошибки и в предположении, что она подразумевает абсолютно правильное, пусть даже его и не достигает? Я говорю о «сущностной» правильности описания событий, подразумеваемой в исправлении, которое делает более поздний историк. Думаю, абсолютная правильность, которую держит в уме историк, оказалась бы полной картиной заданного прошлого, если бы были проработаны все его импликации. Если бы мы могли знать все, что таится в наших памятях, документах и памятниках, и смогли управиться со всем этим знанием, то историк счел бы, что у него есть то, что является абсолютно правильным. Но правильное прошлое, которого достиг бы историк времен Аристотеля, расширяя таким путем известное ему прошлое, совершенно расходилось бы с миром, известным современной науке; изменения, которые привносятся из года в год в наши прошлые исследования, отличаются от приведенного сравнения лишь в степени. Если мы ведем речь о любой другой «сущностной» правильности, то это должна быть либо правильность реальности, которая по определению никогда не может проникнуть в наш опыт, либо правильность отодвинутой в бесконечность цели, в которой тот тип опыта, в котором мы пребываем, прекращается. Можно, конечно, допустить, что опыт, в котором мы пребываем, включен в какой-то мир или опыт, превосходящий его. Скажу лишь, что в наших суждениях о правильности прошлого такое допущение никакой роли не играет. У нас могут быть и иные резоны, теологические или метафизические, для допущения реального прошлого, могущего быть данным в представлении, независимом от всякого настоящего,

однако ни в постулаты, ни в технику исторических исследований это допущение не входит.

Хотя представление о «сущностном» неотменяемом прошлом, возможно, является обычным фоном мышления, интересно вернуться к сделанному ранее утверждению, что ученый-исследователь смотрит вперед не невозмутимо, но с оживленным интересом к фундаментальным изменениям, которые последующее исследование внесет в самые точные определения, которые мы можем сделать сегодня. В картине, которую это нам дает, настоящие плавно перетекают одно в другое, каждое настоящее имеет соотносимое с ним прошлое, а каждое прошлое вбирает в себя оставшиеся позади прошлые и в какой-то степени реконструирует их со своей точки зрения. Как только мы берем эти более ранние настоящие как существующие отдельно от представления их как прошлых, они перестают иметь для нас смысл и теряют всякую ценность, которую могли бы иметь в интерпретации нашего настоящего и в определении наших будущих. Их можно разместить в геометрии пространства-времени Минковского, но даже при таком допущении они могут прийти до нас только через наши схемы соотнесения, или перспективы; то же касается любых других метафизических допущений, локализирующих реальность прошлого в прошлых, независимых от всякого настоящего.

Кто-то, вероятно, сказал бы, что неотменяемость прошлого локализована в таком метафизическом порядке, и этот момент я хочу обсудить. Историк не сомневается в том, что нечто произошло. Он колеблется относительно того, что произошло. Также он исходит из посылки, что если бы в его распоряжении были все факты, или данные, то он смог бы определить, что именно произошло. Иначе говоря, его идея неотменяемости присоединяется, как я уже установил, к тому «что», которое произошло, а также к уходу события. Но если вдруг возникает что-то новое, то это сразу же сказывается на прошлом. Появляется новое

прошлое, ведь с каждым новым подъемом ландшафт, остающийся позади нас, становится иным ландшафтом. Аналогия неидеальна, поскольку высоты уже есть, и аспекты ландшафта, которые с них открываются, тоже уже есть и могли бы быть реконструированы из настоящего этого путника, если бы он имел все импликации своего настоящего перед собой; но эмерджентное не присутствует заранее и, по определению, не может быть введено даже в самую полную презентацию настоящего. Метафизическая реальность, предполагаемая высказыванием Эддингтона, что наш опыт есть путешествие ума в упорядоченную геометрию пространства-времени², соответствовала бы при этом заранее существующему ландшафту.

Есть, конечно, альтернативная доктрина Уайтхеда, согласно которой перспективы существуют в природе как пересекающиеся временные системы, производя тем самым не только разные настоящие, но и соответствующие им разные прошлые. Я не могу, однако, понять, как Уайтхед с фиксированной геометрией пространства-времени, которую он принимает, может избежать фиксированного порядка событий, пусть даже «что» этих событий зависит от вхождения вечных объектов, возникающего через «дела Господни» и привносящего тем самым эмерджентность³. Вопрос в том, является ли необходимость, с которой работает ученый, такой необходимостью, которая детерминирует настоящее из прошлого, не зависящего ни от этого,

² *Eddington A.S. Space, Time, and Gravitation: An Outline of the General Relativity Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1920. P. 51.*

³ В регулярных обсуждениях Уайтхеда м-р Мид опирается в основном на его работы «Исследование оснований естествознания» (*An Enquiry Concerning the Principles of Natural Knowledge, 1925*) и «Понятие природы» (*The Concept of Nature, 1920*); иногда встречаются также ссылки на «Науку и современный мир» (*Science and Modern World, 1925*). «Процесс и реальность» (*Process and Reality, 1929*) он не включал в сферу своего обсуждения.

ни от любого другого настоящего. Упорядоченное пространство-время предполагает такую метафизическую необходимость. С этой точки зрения разные прошлые, присутствующие в опыте, суть субъективные реинтерпретации, и физик не заинтересован в том, чтобы делать их частью совокупной схемы событий. Философия Уайтхеда — это героическая попытка согласовать такого рода геометрическую необходимость с эмерджентностью и различиями изменчивых перспектив. Я не верю в осуществимость этого, но меня больше интересует ответ на вопрос, проистекает ли необходимость, заключенная в связях настоящего и прошлого, из такой метафизической необходимости, т.е. необходимости, не зависящей ни от какого настоящего.

Я возвращаюсь здесь к исходному положению, что реальность, превосходящая настоящее, должна проявлять себя в настоящем. Эта альтернатива и обнаруживается в установке ученого-исследователя, неважно, признает он ее в своей доктрине или нет. Она состоит в том, что есть и всегда будет необходимая связь прошлого и настоящего, но настоящее, в котором появляется эмерджентное, принимает это новое как существенную часть мира и с этой точки зрения переписывает свое прошлое. Тогда эмерджентное перестает быть эмерджентным и вытекает из прошлого, заменившего прежнее прошлое. Мы говорим о жизни и сознании как об эмерджентных, но наша рационалистическая душа не успокоится, пока не представит мироздание, в котором они неизбежно возникают из того, что им предшествовало. Мы не можем сделать эмерджентное частью мысленной связи прошлого и настоящего, и даже когда мы вроде бы его приняли, мы продвигаем, насколько это возможно, биохимию и бихевиористскую психологию в попытке довести эмерджентность до исчезающей точки. Но даже если представить полную победу ученого-исследователя — целиком рационализированный мир, в котором есть детерминированный порядок, — то и тогда он будет вглядываться вперед, в появление новых

проблем, которые будут возникать в новых настоящих, дабы вновь быть рационализированными с помощью нового прошлого, которое будет гармонично вбирать в себя старое прошлое.

Полная рациональность мира держится, по правде говоря, на индукции, а вот на чем базируется индукция — это в философской доктрине момент спорный. Если есть хотя бы какая-то основательная причина доверять ей, то всякие наши корреляции значительно ее усиливают. Но есть ли такая причина? В этом решающем пункте таится величайшая неуверенность. Процедура ученого ее, конечно, игнорирует. Для ученого это не спорный вопрос. В его процедуре это вообще не вопрос. Он просто занят поиском рационального порядка и вытягивает его назад, дабы можно было предвидеть будущее. Именно здесь функционирует его заданный мир. Если он может встроить в этот мир свою гипотезу и она предвосхищает то, что происходит, то она становится описанием того, что произошло. Если же она терпит крах, то ее заменяет другая гипотеза, и на место прошлого, которое подразумевалось первой гипотезой, приходит другое прошлое.

Самое главное здесь то, что прошлое (или смысловое строение прошлого) так же гипотетично, как и будущее. Данное Джинсом описание того, что происходило внутри Альдебарана или Малого Сириуса за истекшие миллионы лет, гораздо гипотетичнее, чем астрономический каталог того, какие затмения произойдут в ближайшем столетии и где их можно будет увидеть. И метафизическое допущение того, что было определенное событийное прошлое, нисколько не повышает и не понижает надежность любой гипотезы, освещающей наше настоящее. Оно дает, собственно, пустую форму, в которую мы проецируем любую гипотезу, прорабатывая далее ее импликации, но в нем нет даже того постоянства, которое Кант находил в формах интуитивного познания. Парадоксы относительности — или то, что Уайтхед называет разными значениями времени в

разных временных системах, — вскрывают гипотетическую природу линованных расписаний прошлого, в которые мы вставляем события, разворачиваемые у нас за спиной нашими физическими теориями. Можно поискать выход в абсолютном пространстве-времени с его совпадениями событий и интервалами между ними, но даже здесь остается спорным, является ли это истолкование преобразований из одной системы координат в другую окончательным, добрались ли мы до конечной структуры физического мира или лишь до более мощного математического аппарата, нацеленного на достижение большей точности измерений и расчетов, истолкование которых будет меняться с историей математической физики. Пространство-время Минковского — такая же гипотеза, как и теория волнового строения материи де Бройля.

Но неотменяемость прошлого события остается, даже если мы не уверены, каким прошлое событие было. Даже обратимость физических процессов, вроде бы раскрываемая математическими уравнениями, не подрывает этого качества переживания времени. Можно представить, что порядок, образуемый тем, что мы называем одними и теми же событиями, будучи увиденным с дальнего расстояния, мог бы в разных перспективах быть разным, но в рамках любой перспективы то, что уже случилось, повториться не может. В этой перспективе случилось то, что случилось, и любая предлагаемая теория должна дать место в этой перспективе этому порядку. В происходящем есть неизменная временная направленность, и если мы можем пристегнуть к этому протеканию другие процессы, то можем придать им определенность ровно настолько, насколько допускает степень этой привязанности. При данном значении скорости движения тела в некоторой системе координат мы можем определить, где тело с необходимостью будет. Наша задача — определить, что именно предшествовало тому, что происходит, дабы можно было, исходя из направления протекания вре-

мени, определить, каким мир собирается быть. Есть некоторый временной процесс, развертывающийся в опыте. То, что произошло, переходит в то, что происходит, и в этом переходе то, что уже случилось, пространственно-темпорально определяет то, что переходит в будущее. Тогда в той мере, в какой мы можем определить константы движения, мы можем проследить эту детерминацию, и наш анализ стремится, насколько возможно, свести происшествие к движению. Вообще говоря, поскольку переход сам дан в опыте, направление протекающих изменений отчасти обуславливает то, что произойдет. Произошедшее событие и направление протекания процесса дают основу рациональному определению будущего. Неотменяемое прошлое и происходящее изменение — вот два фактора, к которым мы пристегиваем все наши спекуляции относительно будущего. В характере процесса, развертывающегося в опыте, обнаруживается вероятность. И все же, как бы настойчиво мы ни искали пространственно-временные структуры, несущие с собой дедуцируемые результаты, мы признаем связи вещей в их процессах, не сводящиеся к количественным элементам, и хотя в меру возможности мы соотносим эти связи с измеряемыми качествами, мы все-таки признаем их определяющими условиями того, что происходит. Мы ищем их antecedentes в прошлом и судим о будущем по связи этого прошлого с тем, что происходит сейчас. Все эти связи внутри развертывающегося процесса являются связями, определяющими то, что будет, хотя специфическая форма этой детерминации составляет научную проблему, конкретную для каждой конкретной ситуации. Именно эту актуальность детерминации внутри протекания непосредственного опыта элиминировал из опыта Юм своими предпосылками и своим типом анализа, и именно она придает убедительность кантовской дедукции категорий.

Задача философии сегодня состоит в том, чтобы сделать совместимыми друг с другом эту универсальность

детерминации, являющуюся критерием современной науки, и возникновение нового, которое принадлежит не только опыту человеческих социальных организмов, но обнаруживается и в природе, которую исследующие ее наука и философия отделили от человеческой природы. Трудность, сразу дающая о себе знать, состоит в том, что эмерджентное появляется не раньше, чем мы начинаем его рационализировать, иначе говоря, когда беремся показать, что оно или, по крайней мере, условия, определяющие его появление, могут быть найдены в лежащем позади него прошлом. Таким образом, более ранние прошлые, из которых оно возникло как нечто такое, чего они не предполагали, вбираются в более всеобъемлющее прошлое, ведущее напрямик к нему. А это значит, что все, что бы ни случилось, даже эмерджентное, случается в детерминирующих условиях — прежде всего с точки зрения точных наук в пространственно-временных условиях, ведущих к дедуцируемым в каких-то пределах выводам касательно того, что будет происходить, а также в условиях качественного рода, гарантии которых остаются лишь в пределах вероятности, — но что эти условия никогда не детерминируют полностью то «что», которое случится. Может случиться вода как нечто отличное от комбинаций кислорода и водорода. Могут случиться жизнь и так называемое сознание. Могут случиться и кванты, хотя можно возразить, что такое происшествие находится на ином «уровне», нежели «уровень» жизни и сознания. Появившись, эти эмерджентии становятся частью детерминирующих условий, находимых в реальных настоящих, и наш особый интерес состоит в том, чтобы представить прошлое, которое в ситуации до нас обусловило появление эмерджентного, и прежде всего представить его так, чтобы мы могли вызывать новые явления этого объекта. Мы ориентируем себя не относительно прошлого, бывшего настоящим, в котором явилось эмерджентное, а в таком переустановлении прошлого как обуславливающего

будущее, которое обеспечивало бы нам контроль над его повторными появлениями. Когда появилась жизнь, мы можем ее умножать, а при наличии сознания мы можем контролировать ее появление и ее проявления. Даже формулировка прошлого, в котором появилось эмерджентное, неизбежно дается с точки зрения мира, в котором само это эмерджентное есть как обусловленный, так и обуславливающий фактор.

Мы не смогли бы вернуть эти прошлые настоящие так, как они произошли, — если позволительно так выразиться, — разве только как настоящие. Исчерпывающая их презентация была бы равнозначна их проживанию заново. Иначе говоря, одно настоящее, перетекающее в другое, не обозначает того, что имеется в виду под прошлым. Но даже это утверждение подразумевает, что такие настоящие, перетекающие одно в другое, были; и независимо от того, смотрим мы на них с этой точки зрения или нет, мы, видимо, подразумеваем их реальность саму по себе как структуру, в пределах которой должен располагаться тот род прошлого, который нас интересует, если он аспект реального прошлого. Не останавливаясь на двусмысленностях, содержащихся в таком утверждении, я хочу подчеркнуть, что из этой концепции прошлого неотменяемость прошлого не вытекает. Ведь, употребляя термин «неотменяемость», мы указываем на то, что должно было быть (*must have been*), а источник этой необходимости — структура и процесс в настоящем. Мы никак не можем вернуться в такое прошлое и проверить свои догадки действительным ознакомлением с его событиями в процессе их протекания. Мы проверяем наши догадки о прошлом обуславливающими направленностями настоящего и последующими событиями в будущем, которые должны быть определенного рода, если прошлое, нами усмотренное, было. Сила неотменяемости обнаруживается, стало быть, в расширении той необходимости, с которой то, что только что произошло, обуславливает то, что возни-

кает в будущем. Что может больше, чем это, принадлежать метафизической картине, не проявляющей интереса к прошлым, возникающим позади нас!

Итак, в анализе, который я предпринял, мы обнаруживаем, *во-первых*, переход, в ходе которого то, что происходит, обуславливает то, что возникает. Все, что происходит, происходит при необходимых условиях.

Во-вторых, эти условия, будучи необходимыми, не определяют того, что возникает, во всей его реальности. Интересные отражения этой ситуации мы находим в критике ученым собственных методов достижения точного определения положения и скорости и в импликациях квантов. В этой критике мы видим, что ученый, ни на секунду не отказываясь от обуславливания происходящего, уже произошедшим, выраженного в вероятности, оказывается вполне способен расценить как эмерджентные даже те события, которые поддаются самому точному определению. Я не берусь предугадать, какое позднейшее толкование будет дано размышлениям де Бройля, Шрёдера и Планка. Я просто указываю на то, что даже в области математической физики строгое мышление не предполагает с необходимостью, что обуславливание настоящего прошлым несет с собой полную детерминацию настоящего прошлым.

В-третьих, в переходе обуславливание того, что происходит, тем, что произошло, настоящего прошлым пребывает *здесь* (*is there*). Прошлое в этом смысле присутствует в настоящем; а в том, что мы называем сознательным опытом, его присутствие явлено в памяти и в расширяющем память историческом аппарате как та часть обуславливающей природы перехода, которая отражается в опыте органического индивида. Если в переходе все объекты в настоящем обуславливаются одними и теми же качествами, то их прошлые имплицитно тождественны, но если — доведем до логического конца одно спекулятивное предположение о квантах — один электрон из 2000 испускает энергию в отсутствие детерминирующих условий для отбора

именно этого электрона, а не остальных 1999-ти, то очевидно, что прошлое, явленное в поведении этого электрона, даже имплицитно не будет таким же, как прошлое других в этой группе, хотя его внезапное поведение и будет обусловлено всем, что произошло раньше. Если при разобщающих социальных условиях один из 2000 индивидов совершает самоубийство, в то время как, судя по всему, он мог погибнуть с той же вероятностью, что и любой другой, то в его прошлом есть что-то особенно удручающее, чего в прошлом других нет, хотя совершение им самоубийства и есть выражение прошлого. Прошлое пребывает здесь, обуславливая настоящее и его переход в будущее, но в организации тенденций, воплощенной в одном индивиде, может быть нечто эмерджентное, придающее этим тенденциям структуру, относящуюся только к ситуации этого индивида. Тенденции, приходящие из прошлого перехода и из присущего самому переходу обуславливания, становятся, приобретая эту организованную структуру, иными влияниями. Для равновесия процессов распада и агломерации в звезде это так же верно, как и для взаимного приспособления живой формы и ее среды. Структурная связь, заключенная в их взаимном равновесии или приспособлении, упорядочивает те текущие процессы, которые проливают свет на прошлое этой звезды и приводят нас к описанию ее истории. По словам Дьюи, события являются, как истории, имеющие *dénoûement*, и когда имеет место исторический процесс, организация обуславливающих фаз этого процесса является новым элементом, который не предсказывается исходя из отдельных фаз и сразу устанавливает сцену для прошлого, ведущего к нему как результату⁴. Организация всякой индивидуальной вещи несет с собой связь этой вещи с процессами, происходившими до того, как эта организация установилась. В этом смысле, прошлое этой вещи

⁴ См.: Dewey G. Experience and Nature. L.: George Allen & Unwin, Ltd, 1929. Ch. 3, 7.

«дано» в ее текущем настоящем, и наши истории вещей являются развитиями того, что заключено в этой ситуации. В переходе это «данное» наличествует в настоящем и является отправной точкой для когнитивной структуры прошлого.

В-четвертых, это эмерджентное качество, будучи ответственным за связь текущих процессов, устанавливает данное прошлое, так сказать, перспективу объекта, в котором появляется это качество. Мы можем представить объект, например, какой-нибудь атом кислорода, который безмерно долго оставался тем, что он есть, в полном приспособлении к своим окружениям, который оставался реальным в перетекании одного настоящего в другое, или, лучше сказать, в одном сплошном, непрерывном переходе. У такого объекта было бы непрерывное существование, но не было бы прошлого, пока мы не обратились бы к событию, когда он возник как атом кислорода. Это означает, что там, где бытие есть существование, а не становление, прошлого нет и что детерминация, заключенная в переходе, есть условие прошлого, но не его реализация. Связь перехода предполагает различные природы в событиях прежде, чем могут возникнуть прошлое, настоящее и будущее, подобно тому, как протяжение является связью, предполагающей различные физические вещи до того, как может возникнуть структурированное пространство. Одно событие делается отличимым от другого благодаря становлению, воздействующему на внутреннюю природу события. Мне кажется, что крайняя математизация новейшей науки, при которой реальность движения сводится к уравнениям, в которых изменение исчезает в тождестве, а пространство и время исчезают в четырехмерном континууме неразличимых событий, не являющемся уже ни пространством, ни временем, есть отражение трактовки времени как перехода без становления.

Тогда что же такое настоящее? Определение Уайтхеда указало бы на временную протяженность хода собы-

тий, образующих вещь, — протяженность достаточно широкую, чтобы дать вещи возможность быть тем, что она есть⁵. Для атома железа достаточно было бы периода, в течение которого завершается оборот каждого из его электронов вокруг ядра. Мир в течение этого периода конституировал бы длительность с точки зрения этого атома. Мнимое настоящее человеческого индивида предположительно было бы периодом, в пределах которого он мог бы быть самим собой. С предложенной мною точки зрения, оно заключало бы в себе становление. Должно быть как минимум что-то, что случается с вещью и в вещи и воздействует на природу этой вещи, чтобы одно мгновение могло быть отличимым от другого, чтобы могло быть время. Но в такой формулировке содержится конфликт принципов определения. С одной точки зрения, мы ищем, что существенно для настоящего; с другой — ищем наименьший предел в процессе деления. Обращусь сначала к последнему. Здесь затрагивается вопрос о связи времени с переходом, внутри которого время, видимо, заключено и в пределах протяженности которого мы размещаем время и сравниваем времена. Тысячная доля секунды имеет реальную значимость, и мы можем представить мир тонущим в море энтропии, в котором прекращается всякое становление. Здесь мы имеем дело с абстракцией протяженности простого перехода от того времени, в котором события случаются, потому что становятся. Уайтхед называет ее «экстенсивной абстракцией». Она точно так же ведет нас к событию-частице, как математический анализ к дифференциалу. Событие-частица должна соотноситься с чем-то становящимся так же, как дифференциал изменения — например, нарастание скорости — с целостным процессом. Стало быть, экстенсивная абстракция есть метод анализа и инте-

⁵ См.: *Whitehead A.N. An Enquiry Concerning the Principles of Natural Knowledge*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1925. P. 22ff.

грации, и ей не требуется иных оправданий, кроме ее успеха. Но Уайтхед использует ее как метод метафизической абстракции и находит в самом происшествии событие, субстанцию того, что становится. Содержание становящегося он переносит в мир «вечных объектов», входящих в события под контролем принципа, лежащего за пределами их явления (*occurrence*). Таким образом, если существование являющегося обнаруживается в настоящем, то «что» являющегося не возникает из происшествия, а случайно попадает в событие через метафизический процесс вхождения. Это кажется мне неправильным использованием абстракции, поскольку ведет к метафизическому отсоединению того, что абстрагируется, от конкретной реальности, из которой абстракция извлечена, вместо того чтобы оставить ее инструментом разумного контроля над этой реальностью. Бергсон, думается мне, указывает на это же неправильное использование абстракции, но в ином контексте, когда говорит об опространствливании времени и противопоставляет взаимоисключающей природе таких временных мгновений взаимопроникновение содержаний «реальной» длительности.

Если, напротив, становящееся признавать событием, которое в своей связи с другими событиями дает времени структуру, то абстракция перехода от происходящего является чисто методологической. Мы продолжаем анализ до тех пор, пока сохраняется контроль над содержанием, но всегда с признанием того, что вычленяемое посредством анализа имеет свою реальность в слитности происходящего. То, что это результат определения события как того, что становится, на мой взгляд, хорошо видно в применении и проверке самых темных наших гипотез. Чтобы обладать ценностью и быть достоверными, они должны представлять новые события вытекающими из старых, таких, как расширение или сжатие Вселенной в размышлениях Эйнштейна и Вейля о кажущемся разбегании дальних туманностей на огромных скоростях или выталкивание электронов

из ядра атома в центре звезд в размышлениях Джинса о превращении материи в излучение. И эти происшествия должны так войти в наши экспериментальные открытия, чтобы найти свою реальность в конкретности того, что происходит в актуальном настоящем. Прошлые, развертываемые ими позади нас, настолько же гипотетичны, насколько и будущее, которое они помогают нам предвидеть. Они обретают достоверность в толковании природы, поскольку являют нам историю развертывающихся в природе становлений, ведущих к тому, что становится сегодня, и вычленяют то, что укладывается в паттерн, рождающийся из гулко-го ткацкого станка времени, а не потому, что выстраивают метафизические сущности, являющиеся призрачной изнанкой математического аппарата.

Если «реальная длительность» (выражение Бергсона) становится временем через явление уникальных событий, отличимых друг от друга по качественной природе, т.е. по чему-то эмерджентному, заключенному в каждом событии, то переход в чистом виде есть способ упорядочения этих событий. Для этого упорядочения необходимо, чтобы в каждом обособляемом интервале была возможность становления чего-то, возникновения чего-то уникального. Мы поддаемся психологической иллюзии, когда допускаем, что ритм счета и возникающий из счета порядок соответствуют структуре самого перехода, отдельно от процессов, складывающихся в порядки через рождение событий. Мы не получаем самого интервала между событиями иначе, кроме как в их соотношениях с другими ситуациями, в которых мы находим совмещение и замещение, т.е. нечто такое, что никогда не может иметь место в переходе как таковом. Мы находим то, что можно назвать функциональным равенством представленных интервалов, в процессах, предполагающих баланс и ритм, но задавать на этой основе время как количество, сущностная природа которого допускает его деление на равные части, есть незаконное использование

абстракции. Мы можем гипотетически реконструировать прошлые процессы, заключенные в происходящем, как основу для когнитивного конструирования рождающегося будущего. В чем убеждают нас экспериментальные данные, так это в том, что мы понимаем происходящее достаточно, чтобы предсказывать то, что произойдет, но никак не в том, что мы получили правильную картину прошлого, независимого от любого настоящего; ибо мы ожидаем, что эта картина будет меняться по мере рождения новых событий. В этой установке мы связываем в своей антиципации настоящие, перетекающие одно в другое, и им принадлежат их прошлые. Их приходится реконструировать так, как они вбираются в новое настоящее, и как таковые они относятся уже к этому настоящему, а не к тому, из которого мы перешли в настоящее настоящее.

Следовательно, настоящее, в противоположность абстракции простого перехода, — это не кусок, вырезанный где-либо из временного измерения единообразно шествующей реальности. Оно соотносится главным образом с эмерджентным событием, т.е. с явлением чего-то большего, нежели процессы, к нему приведшие, чего-то, что своим изменением, непрерывным ходом и исчезновением добавляет к позднейшим переходам содержание, которым они бы иначе не обладали. Признаком перехода без эмерджентных событий является формулировка его в уравнениях, в которых так называемые случаи (*instances*) исчезают в тождестве, на что указал Мейерсон⁶.

При наличии эмерджентного события его связи с предшествующими процессами становятся условиями или причинами. Такая ситуация и есть настоящее. Оно выделяет и в каком-то смысле отбирает то, что сделало возможной его специфику. Оно создает своей уникальностью прошлое и будущее. Как только

⁶ *Meyerson E. Identity and Reality / transl. from fr. by Kate Loewenberg. L.: George Allen & Unwin, Ltd, 1930. Passim.*

мы обращаем к нему взор, оно становится историей и пророчеством. Временной размах настоящего зависит от протяженности события. Это может быть история физического мира как явления галактики галактик. Есть история каждого объекта, и она уникальна. Но такой истории физического мира не было бы до тех пор, пока галактика не появилась, и продолжалась бы она лишь до тех пор, пока галактика сохранялась бы в противовес силам разрушения и слипания. Если спросить, какой может быть временная протяженность уникальности, ответственной за настоящее, то, в терминах Уайтхеда, ответ должен звучать так: это период, достаточно долгий, чтобы позволить объекту быть тем, что он есть. Вопрос этот, однако, двусмыслен, ибо термин «временная протяженность» подразумевает меру времени. Прошлое, как оно является с настоящим и будущим, есть связь эмерджентного события с ситуацией, из которой оно возникло, а эту ситуацию определяет событие. Продолжение или исчезновение того, что возникает, есть настоящее, переходящее в будущее. Прошлое, настоящее и будущее относятся к переходу, обретающему темпоральную структуру через событие, и можно считать их длинными или короткими в сравнении с другими такими переходами. Но как существующие в природе, если можно так выразиться, прошлое и будущее служат границами того, что мы называем настоящим, и определяются обуславливающими связями события с его ситуацией.

Прошлые и будущие, о которых мы говорим, выходят за рамки заключенных в переходе отношений смежности. В памяти и истории, в предвосхищении и прогнозе мы вытягиваем их вовне. Они являются преимущественно полем идеации и находят свой локус в том, что именуется разумом. Хотя они и пребывают в настоящем, они отсылают к тому, чего в настоящем нет, что видно из их связи с прошлым и будущим. Они отсылают за пределы самих себя, и их репрезентационная природа возникает из этой референции. Они

несомненно принадлежат организмам, т.е. эмерджентным событиям, чья природа заключает в себе тенденцию к самосохранению. Иначе говоря, в их ситуации содержатся приспособление, обращенное в прошлое, и избирательная восприимчивость, устремленная в будущее. Так сказать, материалом, из которого возникают идеи, являются установки этих организмов — привычки, когда мы обращены в прошлое, и заключенные в начале акта приспособления к результатам их реакций, когда мы смотрим в будущее. Стало быть, все это принадлежит тому, что можно назвать непосредственным прошлым и будущим.

Эта связь события с его ситуацией, организма с его средой, вкупе с их взаимной зависимостью подводит нас к относительности и к перспективам, в которых она явлена в опыте. Природа среды соответствует привычкам и избирательным установкам организмов, и качества, принадлежащие объектам среды, могут быть выражены только в рамках восприимчивостей этих организмов. То же касается и идей. Через свои привычки и предвосхищающие установки организм оказывается связан с тем, что выходит за пределы его непосредственного настоящего. Качества вещей, отсылающие в активности организма к тому, что лежит вне настоящего, приобретают ценность того, к чему они отсылают. Область разума есть, стало быть, более широкая среда, требуемая активностью организма, но выходящая за пределы настоящего. Что при этом присутствует в организме, так это его становящаяся активность и то в нем самом и в его среде, что ее поддерживает; кроме того, есть его движение из прошлого и за пределы настоящего. Так называемому сознательному организму свойственно достраивать эту более широкую темпоральную среду с помощью качеств, находимых в настоящем. Механизм, посредством которого социальный разум это делает, я рассмотрю позже, а пока хочу обратить внимание на то, что область разума есть расширение среды организма во времени и что идея

располагается в организме, поскольку организм использует то в самом себе, что движется за пределы его настоящего, чтобы занять место того, к чему устремлена его активность. Тем в организме, что кладет основу для разума, является активность, выходящая за пределы настоящего, в котором организм существует.

Но в приведенном описании неявно задавался этот более широкий период, внутри которого организм, скажем, начинает и свершает свою историю как мнимо независимую от всякого настоящего; моя же цель — отстоять противоположный тезис, что эти более широкие периоды не могут иметь реальности иначе, кроме как существуя в настоящих, и что все их импликации и ценности находятся в этих настоящих. Разумеется, это возврат, *во-первых*, к явному факту, что весь аппарат прошлого, памятные образы, исторические памятники, окаменелости и т.п. присутствуют в каком-то настоящем, и, *во-вторых*, к той части прошлого, которая присутствует в опыте в контексте перехода как определенная эмерджентным событием. *В-третьих*, это возврат к необходимой проверке формулировки прошлого в возникающих в опыте событиях. Прошлое, о котором мы говорим, заключено со всеми его качествами в этом настоящем.

Некоторые, однако, полагают, что это настоящее относится к сущностям, реальным независимо от этого и любого другого настоящего, все подробности которых, при всей их невозстановимости, неизбежно предполагаются как заданные. Так вот, есть путаница, смешивающая такое метафизическое допущение с тем очевидным фактом, что мы не в состоянии раскрыть все, что заключено в любом настоящем. Здесь мы стоим с Ньютоном перед бескрайним морем и лишь собираем выброшенную на берег гальку. Нет ничего трансцендентного в этом бессилии наших разумов исчерпать любую ситуацию до конца. Всякий шаг в сторону большего знания просто расширяет горизонт опыта, но все остается в пределах мыслимого опыта. Ум более

великий, чем ум Ньютона или Эйнштейна, выявил бы в мире, наличном в опыте, структуры и процессы, которых мы не можем ни найти, ни даже предположить. Или взять бергсоновскую концепцию всех наших воспоминаний, или событий в форме образов, осаждающих нас и отгоняемых центральной нервной системой. Все это мыслимо в настоящем, и вся эта насыщенность должна быть в распоряжении этого самого настоящего. Это не значит, что выявляемые в этих структурах и процессах зоны или обозначаемые этими образами истории развернулись бы в настоящем так темпорально расширенными, как это предполагается их формулировкой. Если в подобной разнузданной концепции или выдумке есть какой-то смысл, то он в том, что при подходе к любой проблеме, возникающей в опыте, наш анализ должен являть нам непостижимую глубину.

Прошлое в переходе как неотменяемо, так и невосстановимо. Оно производит всю наличную реальность. Перед лицом того, что возникает в опыте, значение того, что есть, высвечивается и расширяется экспансией длящегося перехода подобно тому, как $(a + b)$ возводится в 25 степень биномиальной теоремой. Сказать, что Декларация независимости была подписана 4 июля 1776 г., означает, что в той временной системе, которую мы всюду носим с собой и с формулировкой наших политических привычек, эта дата выделена в наших праздниках. Будучи теми, кто мы есть в социальном и физическом мире, который мы населяем, мы объясняем все происходящее в соответствии с этим временным графиком, но, как и в железнодорожных расписаниях, в нем всегда может что-то непредвиденно измениться. Христос родился за четыре года до Р.Х.

Мы всегда сверяемся со структурой настоящего, и производимая нами проверка формулировок всегда есть проверка успешного исполнения наших расчетов и наблюдений в возникающем будущем. Если мы говорим, что нечто произошло в такую-то дату, то независимо от того, сможем ли мы когда-нибудь ее уточнить,

мы должны иметь в виду, что если бы мы перенеслись в воображении назад, в эту предполагаемую дату, то у нас должен был бы быть такой опыт, но не это нас заботит, когда мы прорабатываем историю прошлого. Именно значимость того, что происходит в действии или оценивании, требует прояснения и направления; ведь постоянно появляется что-нибудь новое, с точки зрения которого наш опыт требует реконструкции, в том числе прошлого.

Лучший ключ к этой значимости мы находим в мире, в котором возникают наши проблемы. Его вещи — упрямые вещи, и они такие, какие есть, ввиду обуславливающего характера перехода. Их прошлое содержится в том, чем они являются. Такое прошлое не событийно. Когда мы разрабатываем историю дерева, древесину которого обнаруживаем в стульях, на которых мы сидим, проясняя весь путь от диатомеи до срубленного в итоге дуба, эта история вращается вокруг постоянной реинтерпретации постоянно возникающих фактов; и эти новые факты обнаруживаются не просто во влиянии меняющихся человеческих опытов на наличный мир. Ведь, во-первых, человеческие опыты — такая же часть этого мира, как и любые другие его характеристики, и мир в силу этих опытов является другим миром. А, во-вторых, в любой истории, которую мы строим, приходится признавать сдвиг в связи между обуславливающим переходом и эмерджентным событием, [т.е.] в той части прошлого, которая принадлежит переходу, даже если этот переход не расширяется в идеации.

Вывод из сказанного таков, что ценность и значимость всех историй заключена в интерпретации настоящего и контроле над ним; что как идеационные построения они всегда вырастают из изменения, являющегося такой же существенной частью реальности, как и постоянство, и из проблем, которые изменение влечет; и что метафизический спрос на множество событий, неизменно наличествующее в неотменяемом

прошлом, которому эти истории стремятся все более соответствовать, сводится к иным мотивам, нежели те, которые работают в самом точном научном исследовании.

ПРИМЕЧАНИЕ⁷

Длительности суть непрерывные перетекания настоящих из одного в другое. Настоящее — это переход, конституируемый процессами, чьи ранние фазы детерминируют в некоторых отношениях их позднейшие фазы. Реальность, стало быть, всегда пребывает в настоящем. Когда настоящее истекло, его больше нет. Возникает вопрос, относится ли прошлое, возникающее в памяти и в ее уходящей еще далее назад проекции, к событиям, существовавшим как такие непрерывные настоящие, переходящие одно в другое, или к той обуславливающей фазе преходящего настоящего, которая позволяет нам определять поведение относительно будущего, тоже возникающего в настоящем. Я отстаиваю именно этот последний тезис.

В моей позиции предполагается, что прошлое — это конструкция, относящаяся не к событиям, имеющим реальность, независимую от настоящего, которое есть место реальности, а скорее к такой интерпретации настоящего в его обуславливающем прохождении, которая позволяет продолжаться осмысленному поведению. Разумеется, очевидно, что материалы, из которых конструируется это прошлое, заключены в настоящем. Я говорю о памятных образах и свидетельствах, посредством которых мы выстраиваем прошлое, а также о том, что любая реинтерпретация той картины прошлого, которую мы формируем, будет обнаруживаться в настоящем и оцениваться по логическим и докумен-

⁷ Эти страницы нашли в бумагах м-ра Мида после его кончины. Видимо, они были написаны позже главы, к которой они здесь прилагаются, возможно, по итогам ее критического обсуждения на собрании философского клуба Чикагского университета в январе 1931 г.

тальным качествам, которыми такие данные обладают в настоящем. Ясно также, что от них в их локусе настоящего нет никакой отсылки к реальному прошлому, лежащему позади нас подобно развернутому свитку, к которому мы можем прибегнуть для проверки наших конструкций. Мы не расшифровываем рукопись, чьи пассажи можно сделать само собой понятными и оставить как надежные картины этой части минувшего, которые можно потом дополнить окончательными конструкциями других пассажей. Мы не созерцаем конечное неизменное прошлое, которое может расстлаться позади нас в своей целостности, уже не подверженное дальнейшему изменению. Наши реконструкции прошлого варьируют в масштабах, но никогда не рассчитывают на окончательность своих открытий. Они всегда подлежат возможным переформулировкам на основе нахождения новых свидетельств, и это может быть полная переформулировка. Даже самые убедительные из памятных образов могут быть ошибочными. Одним словом, наши уверенности относительно прошлого никогда не обретаются благодаря совпадению сконструированного прошлого с реальным прошлым, независимым от этой конструкции, хотя мы носим эту установку на задворках своего ума, поскольку проверяем наши непосредственные гипотетические реконструкции, соотнося их с принятым прошлым, и судим о них по их согласию с принятой летописью; но это принятое прошлое заключено в настоящем и само подвержено возможной реконструкции.

Так вот, все это можно принять, полностью признав, что ни один пункт в принятом прошлом не является окончательным, и все-таки утверждать, что в нашей формулировке прошедшего события остается референция к чему-то случившемуся, которое мы никогда не можем рассчитывать воскресить в содержании реальности, чему-то, что принадлежало событию в том настоящем, в котором оно произошло. Это означает, что позади нас разворачивается свиток истекших на-

стоящих, к которому отсылают наши конструкции прошлого, хотя нет ни возможности когда-либо до него добраться, ни ожидания того, что наши непрерывные реконструкции будут приближаться к нему со все возрастающей точностью. И это подводит меня к существу дела. Такой свиток, если бы мы до него добрались, не есть то описание, в котором нуждаются наши прошлые. Если бы мы смогли вернуть настоящее, истекшее в реальности, которая ему принадлежала, то оно бы нам не служило. Это было бы то настоящее; ему недоставало бы того самого качества, наличия которого мы требуем в прошлом, т.е. той конструкции обуславливающей природы наличного сейчас перехода, которая позволяет нам интерпретировать то, что возникает в будущем, принадлежащем этому настоящему. Когда кто-то вспоминает дни своего детства, он не может войти в них так, как он был в них тогда, вне их связи с тем, чем он стал; а если бы он смог это сделать, т.е. если бы смог воспроизвести опыт так, как он имел место тогда, то он не смог бы его использовать, ведь это предполагало бы, что он не пребывает в том настоящем, в котором это использование должно происходить. Вереница настоящих, внятно существующих как настоящие, никогда не образовала бы прошлого. А потому, если есть такая референция, то это не референция к сущности, которая могла бы встроиться в любое прошлое; и я не могу поверить, чтобы переживаемое прошлое отсылало к чему-то такому, что не имело бы той функции или ценности, которая в нашем опыте принадлежит прошлому. Мы отсылаем не к реальному прошлому событию; оно не было бы тем прошлым событием, которое мы ищем. Можно выразить это иначе: наши прошлые всегда так же ментальны, как и будущие, простирающиеся перед нами в наших воображениях. Помимо последовательных положений, они отличаются от них тем, что детерминирующие условия интерпретации и поведения воплощаются в прошлом, как оно обнаруживается в настоящем, но при этом они

подчинены тому же критерию надежности, что и наши гипотетические будущие. И новизна каждого будущего требует нового прошлого.

При этом, однако, теряется из виду одно важное качество любого прошлого, и состоит оно в том, что никакое прошлое, которое мы можем сконструировать, не может быть адекватным настолько, насколько этого требует ситуация. Всегда есть референция к прошлому, которое недостижимо, и она все же так согласуется с функцией и значением прошлого. Всегда возможно, что импликации настоящего должны быть доведены дальше, чем мы действительно их доводим, и дальше, чем мы в состоянии их довести. Всегда было бы желательно иметь больше знания для решения любой стоящей перед нами проблемы, но этого знания мы обрести не можем. Если бы мы вдруг его обрели, то должны были бы, несомненно, сконструировать прошлое, более истинное для того настоящего, в котором заключены импликации этого прошлого. И именно к этому прошлому всегда отсылает каждое прошлое, несовершенно представляющее себя нашему исследованию. Если бы у нас были все возможные документы и памятники эпохи Юлия Цезаря, то мы, несомненно, имели бы более истинную картину этого человека и того, что происходило на протяжении его жизни, но эта истина принадлежала бы этому настоящему, и позднейшее настоящее реконструировало бы ее с точки зрения собственной эмерджентной природы. Тогда мы можем помыслить прошлое, которое в любом отдельно взятом настоящем было бы неоспоримым. С точки зрения этого настоящего это было бы окончательное прошлое, и если принять во внимание этот случай, то, думаю, именно это прошлое имеется в виду, когда речь идет о том, что выходит за рамки утверждений, которые может дать историк, и именно это прошлое мы склонны принимать как прошлое, независимое от настоящего.

II. Эмерджентность и идентичность

Я говорил о настоящем как о средоточии реальности, поскольку его наличный характер проливает свет на природу реальности. Прошлое и будущее, проявляющиеся в настоящем, можно считать всего лишь порогами небольшого кусочка неограниченной протяженности, чья метафизическая реальность редуцирует настоящее до незначительного элемента, на один миг приближающегося к миру. Такое видение реальности как бесконечного свитка, рывками разворачивающегося перед нашим прерывистым взором, находит еще один вариант в картине реальности как четырехмерного континуума пространства-времени, событий и интервалов, навсегда детерминированных его геометрией, в который мы наугад вторгаемся со своими субъективными схемами соотнесения, получая мгновенные впечатления, наличный характер которых является функцией наших разумов, а не какого-либо сегмента упорядоченных событий в мироздании. Я предположил, что такой подход к реальности не соответствует научной технике и методу, с помощью которых мы ищем открытия тайн в мире. Научная процедура сосредоточивается на том необходимом обусловливании происходящего происходившим, которое вытекает из самого протекания (passage). В пространственно-временных связях, т.е. в движении, это обусловливание может достичь определенности дедукции, хотя даже здесь мы стоим перед возможностью того, что наши выводы будут часто держаться на статистических результатах, отрицающих ту конечную детерминацию, которую мы ищем. Есть свидетельства, что сама попытка довести технику до абсолютной точности саморазрушительна. Еще одна ветвь этой детерминации протекания фигурирует под именем вероятности. Какого бы учения

о вероятности мы ни придерживались, мы полагаем, что ранее случившиеся события несут с собой вероятность того или иного характера последующих событий, даже если эту вероятность можно рассчитать только в опоре на теорию вероятностей. Основание этой детерминации будущего прошлым обнаруживается в том, что происходящее имеет временную протяженность — что реальность не может быть сведена к мгновениям — и что предшествующие стадии должны быть условиями последующих стадий. Дело науки — выяснить, что именно происходит.

Кроме того, изучение протекания подразумевает открытие событий. Они не могут быть просто частями протекания. Эти события всегда имеют черты уникальности. Время может возникнуть только через упорядочение протекания этими уникальными событиями. Ученый находит такие события в своих наблюдениях и экспериментах. Связь любого события с условиями, при которых оно происходит, мы называем причинностью. Связь события с его предшествующими условиями сразу создает историю, а уникальность события делает эту историю соотнесенной с этим событием. Таким образом, обуславливающее протекание и появление уникального события создают прошлое и будущее, как они явлены в настоящем. Все прошлое присутствует в настоящем как обуславливающая природа протекания, а все будущее возникает из настоящего как происходящих уникальных событий. Задача науки — выявить это наличное прошлое в настоящем и предсказать на основе этого будущее. Ее метод — метод идеации.

Я указал, что мы обнаруживаем в живой форме индивидуальную вещь, поддерживающую себя через взаимную детерминацию формы и ее среды. Окружающий мир связан с животным или растением их восприимчивостью и реакцией так, что продолжается жизненный процесс. Животному предстает мир, являющийся миром пищи, крова, защиты или их противоположностей. Неодушевленной вещи противостоит окружение,

не проявляющее свойств, отвечающих действию вещи в ее бытии собой. Валун — определенная вещь, обладающая собственной массой и формой, но его связи с окружающими вещами не рожают в них качеств, которые через контакты, вес или импульс сохраняют этот валун. Валун не имеет среды в том смысле, в каком она есть у животного. Фон неодушевленного объекта — фон сохранения: в нынешней формулировке, сохранения энергии. Никакая трансформация не оказывает воздействия на реальность физической системы. Материю и массу, через которые раньше формулировалась эта пресуппозиция, мы свели к энергии, но существенная особенность этой доктрины заключалась в том, что реальность содержится не в форме — ибо возможны бесконечные трансформации, — а в материи, массе или энергии. Следовательно, хотя и была история небесного тела, которую можно проследить в виде каузального ряда, наука постигает реальность звезды, только мысля ее как энергию, остающуюся незатронутой тем, становится ли форма этого тела двойной или планетной системой. Особая форма неодушевленного тела не имеет значения для «того, что она есть». Для таких тел среда как объект несущественна.

Растения и животные, в свою очередь, представляют для науки такие объекты, существенные характеристики которых обнаруживаются не в том, что претерпевает трансформацию, а в самом этом процессе и в формах, которые объект в ходе этого процесса принимает. Поскольку этот процесс включает взаимодействие животного или растения с окружающими объектами, то очевидно, что процесс жизни придает среде характеристики так же реально, как она — растению или животному. Между тем растения и животные — не только живые объекты, но и физические. Реальность их как физических объектов может быть сведена к чему угодно, что претерпевает трансформацию; формы их при этом становятся несущественными. И как таковые они и должны войти в круг интересов физи-

ка и химика. Жизненный процесс неизбежно исчезает при редукции этих процессов к выражениям энергии. Введение жизненной силы не помогло бы здесь вообще; если бы ее удалось найти, она неизбежно подверглась бы той же редукции.

Разница между физиком и биологом кроется, несомненно, в задачах, которые рассматриваются их науками, в реальностях, которые они ищут. А их процедура соответствует их задачам. Задача физика — редукция, задача биолога — производство. Биолог не может исследовать, пока не получит в распоряжение продолжающийся жизненный процесс. Он должен меж тем располагать физическими средствами для этого процесса и, следовательно, должен быть не только биологом, но и физиком. Если он сводит реальность жизненного процесса к средствам, которые он использует, то он становится механиком. Если жизненный процесс предстает ему реальностью, возникшей из физического мира, и он изучает условия, при которых тот сам себя сохраняет, то он телеолог. Эти две установки входят в конфликт друг с другом только тогда, когда, с одной стороны, он отказывает этому процессу в реальности, поскольку может свести входящие в него объекты к энергии, и, следовательно, отказывается признать, что изучаемый процесс — возникшая реальность, а с другой стороны, когда он устанавливает входящие в процесс физические и химические вещи сугубо в терминах этого процесса и делает их, тем самым, Аристотелевыми качествами, или прилагательными. Таким образом, если биолог занимает позицию, что все составляющие вещей на самом деле суть потенции вещей, предполагающие, что она уже существует, то он становится аристотелианцем или, в современной атмосфере, «типовым» идеалистом; и если он будет последователен, то он оставит поле научных исследований и будет отрицать возможность эмерджентности вообще.

Что я хотел здесь подчеркнуть в связи с возникновением жизни, так это то, что оно придает миру качества

так же подлинно, как и живым существам. Этот факт признается в термине «среда». Мы склонны пользоваться этим термином феноменалистически, помещать реальность среды в ее физическую редукцию к массе или энергии и придавать реальную значимость связи животного с его окружением лишь постольку, поскольку она может быть представлена в физических и химических терминах. Тогда реальность пищи, например, обнаруживается в атомах или электронах и протонах, из которых она состоит, а ее питательные качества — лишь уступка нашему интересу к изолированной группе происходящих вокруг нас событий. Как я отмечал, мы не можем сохранить эту установку без отрицания фундаментальной реальности жизни. Если жизнь — реальность, то ее протекание в форме и среде должно запечатлевать свои свойства во всей области ее протекания. Если животное переваривает, то должна существовать и пища, которую животное переваривает. Можно представить эту ситуацию иначе: в терминах противоположности между условиями происходящего и обусловленным ими происходящим. За этим также стоит различие вещей и событий. Протекающее событие затвердевает в вещь, когда становится в настоящем фиксированными условиями позднейших событий. Хорошее пищеварение, здоровье и сама жизнь — условия разнообразных деятельностей, которые нам несет будущее, и как таковые они суть вещи, составляющие одно из самых дорогих наших достояний. Это в особенности те содержания, к которым присоединяются различные качества или акциденции. Другими словами, они обычно становятся субстанциями, скрепляясь благодаря тому, что после их проявления их обуславливающая природа застывает, какой бы она ни была. Таким образом, будущее непрерывно видоизменяет прошлое в настоящем.

Указанное мной выше различие между редукцией и производством согласуется с различием между нашими установками, соответственно, по отношению к

прошлому и по отношению к будущему. Прошлое мы сводим к стабильным условиям, а весь насыщенный контекст будущего, как он имеет место, должен быть, чтобы быть понятным и пригодным к использованию, вплетен в эту надежную ткань. Таким образом, непрерывно возникают новые вещи, новизна проявления которых изнашивается, превращаясь в надежность того, что становится известным и знакомым. Но вещь — это прежде всего физическая вещь контактного опыта. И здесь мы находим фундаментальную связь между будущим и прошлым в настоящем. Дистанционный опыт есть обещание контактного опыта. То, чем мы можем овладеть, — это субстанция, которой присущи качества звука, цвета, вкуса и запаха. В непосредственном перцептуальном мире то, что мы можем потрогать руками, — реальность, в соотношении с которой должно проверяться видимое и слышимое, если мы хотим избежать иллюзии и галлюцинации. Развитие дистанционных рецепторов с их внутренним аппаратом — головным мозгом — наделило высших животных будущим, которое может становиться действительным лишь постольку, поскольку оно простирается назад в прошлое, в котором контактные переживания, обещаемые или ставящиеся под угрозу визуальным образом или звуком, обрели определенность благодаря более отточенным приноровлениям руки в манипуляции.

Особым достоинством Ньютоновой механики было то, что ее основополагающее понятие массы теснейшим образом соотносилось с весом и объемом в контактном опыте. Нам всегда легко было представить деление перцептуальных объектов на частицы массы и переводить инерцию, силу и импульс в усилие, порождаемое контактными опытами. В этой механической доктрине надежные условия, к которым наука сводила прошлое, делались присущими массовой частице, и такую частицу можно было рассматривать как рафинированное выражение физической вещи пер-

цептуального мира. Именно это особое согласие физической вещи, постулируемой наукой, с вещью, данной в восприятии, сделало модным так называемый материализм этой доктрины. В немалой степени именно на счет этой соотнесенности мы должны отнести нашу инстинктивную склонность приписывать реальность жизни физическим и химическим изменениям в неодушевленных вещах. Аристотелианец не видел никаких проблем в опознании жизни как природы, которая может принадлежать вещам, ведь у него не было вышколенного наукой воображения, способного представить ему находящиеся ниже порога восприятия физические вещи осуществляющими жизненные процессы. Эту последнюю гипотезу, хотя и без экспериментальной верификации, выдвинул Демокрит. Я хотел бы, однако, подчеркнуть, что существенная ошибка этого материализма кроется не в допущении массивного характера конечных физических вещей — ибо масса уже растворилась в энергии, — а в допущении возможности дать исчерпывающее описание любого происходящего события в терминах условий его появления. Не буду распространяться о том, что мы не можем помыслить протекание, внутри которого ничего не происходит, но позволю себе заметить, что каждое событие, благодаря которому становится возможным дифференцировать протекание, должно обладать уникальным характером, не сводимым к условиям, при которых это событие происходит. Попытка такого его сведения ведет не столько к материализму, сколько к отождествлениям и неподвижной Парменидовой глыбе реальности. Если это так, то нет, конечно, ничего особого в появлении жизни или так называемого сознания. Возможно, они и имели больше влияния, чем другие уникальные проявления, но другие события были так же подлинно уникальны, как они, и были так же подлинно вовлечены в процесс реальности.

Поразительная черта появления жизни состоит в том, что процесс, конституирующий реальность жи-

вого существа, — это процесс, выходящий за пределы самой формы и требующий для своего выражения мира, в котором эта форма живет. Следовательно, реальность этого процесса принадлежит миру в его связи с живым существом. На это и указывают термины «форма» и «среда». Это выражение относительности в терминах жизни. Мир явно различен для растения и для животного, он разный для разных видов растений и животных. Они имеют разные среды. То, что обычно мы сводим их всех к физическому миру условий, при которых может протекать жизнь, т.е. к области, в которой имеют место так называемые чисто физические процессы, не устраняет эти разнообразные среды как аспекты реальности.

Доктрина относительности в наше время означает схожее отношение между любым движущимся объектом или группой объектов, движущихся с одинаковой скоростью и в одном и том же смысле, и остальным миром, внутри которого движется это согласованное множество¹. Пространственные, временные и энергетические характеристики объектов меняются вместе со скоростью их движения по отношению к миру, находящемуся в покое относительно этого движущегося согласованного множества. Но, в отличие от живой формы и ее среды, движущееся согласованное множество можно рассматривать как находящееся в покое, а его среда будет рассматриваться тогда как движущаяся с той же скоростью и в противоположном смысле. Эффект относительности, следовательно, ведет то, что я назвал редукцией физической науки, еще дальше; ведь если одна и та же реальность может равно представлять то как движение одного множества относительно другого, находящегося в покое, то как движение второго множества относительно первого, на этот

¹ Этот термин и многое в последующем изложении заимствованы у Уайтхеда: *Whitehead A.N. The Enquiry Concerning Principles... Ch. 3.*

раз находящегося в покое, то очевидно, что темпоральный характер находящихся в покое объектов (их длительность или протекание) должен быть каким-то образом уравнен с темпоральным характером тех же объектов, находящихся в движении. Перемещение в первой ситуации становится равным перемещению во второй. Мы неизбежно переходим в континуум, в котором время становится измерением. То, что было движением, становится интервалом между событиями в пространстве-времени, который, в зависимости от разных точек зрения, может быть либо покоем, либо движением. Проще, хотя и грубее, можно было бы сказать, что реальность движения кроется не в изменении, а в относительных положениях вещей, рассматриваемых как события, по отношению друг к другу.

В Ньютоновом мире пространство ящичного типа, предположительно наполненное инертным эфиром, структура которого иррелевантна времени, было абсолютной средой всякого изменения, что означало для физических наук — всякого движения. Новое абсолютное пространство-время не среда всего, ибо в нем ничего не разворачивается. Есть только события, отделенные друг от друга интервалами. Есть упорядоченная геометрия этого континуума, и материя может быть переведена в эту геометрию в терминах искривления.

Здесь произошло нечто большее, чем исчезновение абсолютного пространства и времени. Они уже исчезли с приходом реляционной теории пространства и времени. Добыть свидетельства абсолютного движения с точки зрения реляционной теории возможно не более, чем с точки зрения относительности. Задачей эксперимента Майкельсона — Морли было показать не абсолютное движение Земли в пространстве, а движение ее в инертном эфире, считавшемся признанным проводником света. Однако возникла новая проблема, когда Эйнштейн доказал, что при любой установленной системе измерения измерение расстояний и вре-

мен в движущейся системе с точки зрения системы, находящейся в покое, дало бы результат, отличающийся от того, который был бы получен, если бы измерение имело место внутри этой движущейся системы. Измерительная линейка в движущейся системе была бы короче, а измеряемое время — продолжительнее. И это согласуется с теми преобразованиями, которые Лоренц счел необходимыми для случая, если бы электромагнитные уравнения Максвелла были приняты как постоянные. В значениях пространства, времени и энергии были одни и те же вариации; и выявилось постоянное значение скорости света, которое Эйнштейн принял в своих измерениях с помощью сигналов. Эти одновременные размышления физика и математика точно объяснили негативный результат эксперимента Майкельсона — Морли. Эта новая гипотеза позволила не только показать, что свидетельства абсолютного движения бессмысленны, но и что сам процесс измерения, когда речь идет о движущихся объектах, очень сложен и требует более сложной математики и гения Эйнштейна, показавшего, что принятые результаты Ньютоновой математики — лишь первые приближения к более точным формулировкам. Таким образом, редукция условий, при которых производятся измерения в точных науках, была выведена за рамки структуры пространства и времени, которая предполагалась до той поры как сама собой разумеющаяся. То же можно сказать и о материи. Две установки в отношении материи, стоящие за нашим восприятием и нашим мышлением, отражаются в двух определениях, которые Ньютон дал массе: как количества материи и как меры инерции. Первое определение непригодно для научного применения, так как предполагает установление плотности; но оно указывает на преобладающую установку ума, на допущение чего-то имеющего природу в себе самом, что можно постичь независимо от связей, в которые оно входит с другими объектами. Инерция же может быть постигнута только через свя-

зи тела с другими телами. Попытки определить массу через инерцию ведут к порочному кругу: масса определяется в терминах силы, а сила — в терминах массы. Необходимо задать систему, чтобы определить объекты, образующие эту систему. Меж тем представление о физической вещи просто как о том, что занимает некоторый объем, пусть и не давало определимого количества материи, давало уму, по крайней мере по видимости, объекты, из которых эта система должна была быть построена. Это же представление мы встречаем в гипотетическом теле Альфа, которое полагалось находящимся вне пределов гравитационного поля и дающим фиксированную физическую сущность, относительно которой физический мир может быть ориентирован. И если теперь мы устанавливаем «что это» тела в терминах энергии, то тем самым мы имеем в виду систему как наличествующую до образующих ее объектов. Мы вывели нашу формулировку условий, определяющих природу объектов, за пределы перцептуального объекта и за пределы субперцептуального объекта Ньютоновой доктрины, легко сливавшейся с перцептуальным опытом. И мы потеряли концепцию среды, вроде Ньютонова пространства и Ньютоновых массовых частиц, в которой могут разворачиваться события физического мира. Ведь пространственно-временной континуум не дает такой среды. Это метафизический мир вещей-в-себе; к нему можно отослать в математическом аппарате, которым мы обязаны пользоваться, но среды он нам не дает. Ему недостает свойств, сообщаемых среде организмом через его связь с ней; он имеет природу, из которой возникают и среда, и организм, и, следовательно, его можно считать независимым от них. Мир физических и химических наук дает условия для жизни и окружения, в которых можно жить. Естественно, мир, лежащий за пределами возможного опыта, не может быть средой опыта.

Не можем мы считать и два согласованных множества, движущихся относительно друг друга, находя-

щимися в отношениях формы и среды, хотя движение одного множества сообщает другому некоторую структуру в силу самого этого движения. Тот факт, что находящимся в движении может быть сочтено любое из множеств, по крайней мере поскольку речь идет об этом изменении в структуре, делает концепцию формы и среды неприемлемой. Чего мы ищем в среде, так это установления мира, из которого возникло эмерджентное, и, следовательно, условий, при которых это эмерджентное должно существовать, даже если эта эмерджентность своим появлением создала другой мир. Ньютонова материя в Ньютоновом пространстве дала исходную среду, внутри которой происходят все изменения, а Александер представил пространство и время как такую среду, из которой возникли материя, качества, жизнь, разум и божество. Его философия была, в представлении биолога Моргана, философией эмерджентной эволюции². В ней был исторический смысл, относящийся к эпохе эволюционизма. Теория относительности не принадлежит этой эпохе. Ее более глубокие редукции точных условий существования не открывают дверей прошлому. Ранние попытки дать относительности метафизическую формулировку исключают изменение. Они сводят время к параметру, равноправному пространству, и заменяют историю геометрией. Уайтхед, правда, попытался сохранить в релятивистском универсуме движение и изменение. Он удерживал в природе разные временные системы как перспективы, но я не вижу, чтобы он избежал ригидности геометрии пространственно-временного континуума; также мне непонятно, как вторжение вечных объектов в детерминированные таким образом события может открыть двери контингентному.

² См.: *Alexander S. Space, Time, and Deity. Book III.* L.: Macmillan & Co., 1920; *Morgan C.L. Emergent Evolution.* L.: Williams and Norgate, 1923. Ch. 1.

Но меня интересуют не эти ранние метафизические продукты. На фоне релятивистской физической теории становится видно, что редукция условий изменения — или, в этом случае, движения — была доведена до той точки, где само изменение или движение исчезает. И мы не получаем ситуацию, из которой возникает изменение, пока не постулируем метафизическое царство; но оно не может быть средой, в которой изменение происходит. Напротив, пространство-время становится реальностью, а изменение — ее субъективным отражением. То же и в случае, когда мы пытаемся свести теорию энергии как «что́ это» физического объекта к ситуациям, внутри которых возникают объекты, конституирующие как таковые системы, в которых энергию можно измерить. Подобную доктрину предложил Оствальд: он задает энергию как метафизическую сущность, саму по себе не входящую в область физической материи, и эта сущность может конституировать объект заранее, до систем, в которые он может войти. Масса как количество материи давала подобную концепцию; хотя она не поддавалась точному определению, ее все же можно было считать занимаемым объемом, проявляющим себя в инерционном сопротивлении, и, следовательно, мысленно принять как предпосылку системы вещей. Энергия же, могущая принимать разные формы и оставаться при этом той же самой, теряет эту эмпирическую ценность. Ее можно представить в объекте лишь постольку, поскольку система этого типа уже есть в наличии. Чтобы представить электрон, надо иметь в распоряжении электромагнитную систему. Представить тело, содержание которого образует энергия, раньше системы — значит постулировать метафизическое царство, не попадающее в тот круг, внутри которого действительны гипотезы ученого. Это не составляет проблемы до тех пор, пока гипотезы ограничиваются ситуациями, в которых системы уже есть в наличии. «Что́ это» объекта может быть определено в рамках системы. Но

концепция энергии как природы физической вещи не дает нам среду, в которой можно выстроить систему. И концепция относительности, и концепция энергии как природы физической вещи указывают, что мы вывели нашу технику точного измерения и наш анализ за пределы историчности, т.е. либо не можем вернуться к такому логическому началу, какое представил Александер в своей масштабной философии эмерджентности или эволюции, либо, если делаем это, то должны прийти к нему в некоем метафизическом царстве, выходящем за рамки научного мышления.

Поразителен тот факт, что эти две фазы того, что я назвал редукцией обусловливания протекания, — условия измерения того, что движется с точки зрения того, что находится в покое, и импликации принятия энергии как «что́ это» физического объекта (я говорю о преобразованиях Лармора и Лоренца как об условиях инвариантности уравнений Максвелла) — должны были почти одновременно прийти к одному и тому же выводу. Следствием этого было устранение из оснований научного мышления независимых пространства и времени, в которых мог быть выстроен физический мир, и материи, которая могла бы мыслиться в логической независимости от систем вещей, выстраиваемых из нее. Эта основа историчности исчезла с приходом теории относительности и электромагнитной теории материи. У Ньютона пространство было одеянием Божьим, а твердые атомы — существовавшими заранее строительными камнями, из которых строился мир. Влияние таких концепций, как абсолютное пространство и массовые частицы, вело к поиску реальности в каузальных рядах, восходящих к конечным сущностям, которые были точно измеряемыми условиями наличной реальности. В том, чтобы такое подразумеваемое абсолютное начало предполагалось в окончательной мысли, не было вовсе никакой необходимости, но эти понятия несли с собой настрой ума, находивший реальность в условиях, которые, простираясь во време-

II. Эмерджентность и идентичность

ни, конституируют абсолютное прошлое. Исчезновение абсолютного пространства и сведение массы к более общей концепции энергии выводят на передний план *настоящие* (present) научные открытия как критерий и место реальности. Встраивается ли гипотеза предшествующих каузальных условий в данные наблюдений и лабораторные данные? Пока она выполняет эту функцию, ее созвучие с упорядоченной картиной механического процесса не имеет значения. Приветствуется любая гипотеза — скажем, волновая теория материи. Ее проверка заключена в ее функционировании. Настрой научного разума на свою реальность уводит от прошлого к настоящему, и это несет с собой проверку в соотношении с актуальными открытиями.

Вместе с тем мы не можем воздержаться от выстраивания историй; и они становятся поистине более чарующими. Сравним, например, волнующие истории небесных тел Эддингтона и Джинса с монотонностью Ньютоновой механической структуры или гипотез Канта и Лапласа. Но они не несут в себе никакой окончательности. Мы ожидаем того, что они будут меняться с новыми проблемами и новыми открытиями, и будем очень разочарованы, если они меняться не будут. Не ждем мы и того, что они будут становиться внутренне более согласованными, как в случае расшифровки непонятого манускрипта. В научной процедуре нет более ничего, что конфликтовало бы с новыми прошлыми, возникающими вместе с эмерджентными событиями.

III. Социальная природа настоящего

Социальная природа настоящего возникает из его эмерджентности. Я имею в виду заключенный в эмерджентности процесс переприспособления. Так, природа с появлением жизни приобретает новые качества; или система звезды приобретает новые качества при потере массы, когда протекающие в звезде процессы приводят к коллапсу атомов. Имеет место приспособление к этой новой ситуации. Новые объекты входят в связь со старыми. Определяющие условия перехода задают условия, при которых новые объекты выживают, а старые входят в новые отношения с тем, что возникло. Термин «социальный» я отношу здесь не к новой системе, а к процессу переприспособления. Великолепный пример мы находим в экологии. В сообществе луга или леса происходит ответ на вхождение любой новой формы, если эта форма может выжить. Когда новая форма утверждается в своем гражданстве, ботаник может показать, какие взаимные приспособления произошли. Мир в силу этого пришествия становится другим миром, но отождествлять социальность с этим результатом — значит, отождествлять ее просто с системой. Я, скорее, имею в виду стадию между старой системой и новой. Если эмерджентность есть элемент реальности, то и эта фаза приспособления, вклиненная между упорядоченным миром, который предшествовал возникновению эмерджентного, и миром, уже поладившим с вторгшимся новым, тоже должна быть элементом реальности. Можно показать это на примере появления планеты при гипотетическом приближении звездного гостя, которое привело к рождению нашей Солнечной системы. Был период, когда вещество Земли было частью вращающейся внешней оболочки Солнца. Теперь это отдельное от звездной массы тело, продолжающее вращаться, но уже по своей орбите. Тот факт, что на

дальней орбите планета проявляет ту же инерцию, что и та, которая носила ее вокруг звезды до появления ее как планеты, не отменяет ни того, что теперь есть планетная система там, где прежде было одно звездное тело, ни той стадии, на которой вещество будущей планеты пребывало в обеих системах. То, что мы привычно называем социальным, есть лишь так называемое осознание такого процесса, но этот процесс не тождествен его осознанию, ибо оно есть осознание ситуации. Чтобы было осознание социальной ситуации, должна быть в наличии она сама.

Итак, ясно, что такой социальный характер может принадлежать лишь моменту, когда происходит возникновение, т.е. настоящему. Мы можем в идеации припомнить этот процесс, но такое прошлое не является восстановлением дела, как оно происходило, ибо оно воссоздается с точки зрения текущей эмерджентности и откровенно гипотетично. Это прошлое, которого требует наше настоящее, и проверяется оно тем, как оно укладывается в эту ситуацию. Если бы, *per impossible*, нам нужно было добраться до прошлого события, как оно протекало, нам пришлось бы оказаться в этом событии, а затем сравнить его с тем, что мы представляем теперь как его историю. Это не только противоречие в терминах, но еще и искажение функции прошлого в опыте. Функцией этой является непрерывная реконструкция, что-то типа хроники, служащей целям текущей интерпретации. К полному воссозданию, если можно так выразиться, мы, видимо, приближаемся при установлении фундаментальных законов природы, таких, как законы движения, о которых мы говорим, что они должны были быть и должны быть всегда такими, каковы они сейчас; и именно здесь ярче всего являет себя относительность. Она откровенно сводит тот род реальности, который мог бы быть тождественным содержанием прошлого, настоящего и будущего, к упорядоченности событий в пространстве-времени, а она, по определению, могла бы быть в любом прошлом научного воображения так же мала, как и находимая нами в

нашем перцептуальном мире. Геометрия пространства-времени отрицает эмерджентность, если только та не вносится в нее через метафизику Уайтхеда; и, если я не ошибаюсь, такой взгляд должен пожертвовать упорядоченной геометрией пространства-времени, которую сохраняет Уайтхед. Без эмерджентности нет различных событий, благодаря которым возникает время. События и интервалы, о которых говорит релятивист, — это константы, которые вытрясаются из высокосложной математики, и осознание социального характера мира показало, что они необходимы.

Социальный характер мира обнаруживается в ситуации, в которой новое событие находится одновременно в старом порядке и в новом, возведенном его пришествием. Социальность — это способность быть несколькими вещами сразу. Животное прочесывает местность в поисках добычи: оно одновременно часть системы распределения энергий, делающей возможным его передвижение, и часть системы джунглей, входящей в систему жизни на поверхности неодушевленного земного шара. Итак, мы признаем, что если надо оценить энергию, которую животное намерено потратить на передвижение, то мы должны принять во внимание его свирепость, его состояние голода и притягательность или страх, которые возбуждает в нем его жертва; и в равной степени мы признаем, что если нам надо оценить эти характеристики формы, то мы должны суметь измерить выражения энергии в его организме и среде. В его связи с собственной средой присутствует такая же подлинная социальность, как и в его связи с жертвой, со своим брачным партнером и со своей стаей; признаком ее служит то, что о характеристиках, принадлежащих объекту как члену одной системы, мы обычно судим по характеристикам, принадлежащим ему в другой. Так, мы мерим движение расстояниями, покрываемыми в покоящемся согласованном множестве, а параметры этого множества — движениями, которые учитываем в измерении. Релятивист обнаружил, что эта взаимная оценка предполагает изменение в единицах измерения

и что для достижения идеальной точности нужно производить преобразование. По-видимому, в такой же ситуации мы находимся в биологии. Чтобы точно оценить жизненный процесс с точки зрения распределений энергии, нам нужно суметь преобразовать неорганический физико-химический процесс в процесс органический, а сделать это нам, к сожалению, так и не удалось.

Если рассмотреть основания этой оценки, переходящей от одной системы к другой, то мы обнаруживаем две особенности. Первая — это возникновение события из условий, при которых оно появилось; как мы видели, оно дает начало своей истории и может быть подведено под общий термин «эволюция». Вторая — перенесение идентичных условий из прошлого в настоящее. Явления планет, если связать их с законами массы и движения, складываются в упорядоченные ряды, и с этой точки зрения объект рассматривается как возникающий из старого. С точки зрения его возникновения, он видится как находящийся в обеих системах, но лишь поскольку в обеих действуют общие для них законы. Вещество возникающей планеты — это часть Солнца, движущаяся с инерцией, принадлежащей ей в этом ее качестве; и это также объект в системе, в которой Солнце имеет определенную массу, вытекающую из массы и движения этой планеты относительно Солнца. Так же в динамике Галилея ускорения и замедления были эмерджентиями в поле движения масс в абсолютном пространстве.

Теории относительности оставалось лишь установить само движение как нечто, возникающее при определенных условиях, заданных системами координат, из логически предшествующих условий событий, разделенных интервалами в пространстве-времени. Но эти условия уже не лежат в радиусе возможного опыта. При этом остается истинным, что то, что в опыте является движением с одной точки зрения, является покоем с другой. Относительность движения давно признана. При отказе от абсолютного пространства и успешном развитии общей теории относительности Эйнштейна

возникновение движения и покоя из более абстрактной ситуации, выражающей нечто общее для обеих систем координат, или перспектив, представляющее в одной как движение, а в другой — как покой, кажется логически необходимым. И все же, как я только что указал, такая формулировка уводит нас от схемы развития, очерченной выше. Она предполагает связь видимости и реальности, субъективного и объективно реального, но не связь эмерджентного объекта, возникающего из прошлого, с тем, что его обуславливает. Так мы явно отказываемся от эволюционной философии науки и переходим в рационалистическую фазу, в которой реальность явлена нам только в паттернах логики и математики. Подозреваю, однако, что мы подошли совсем близко к тем великим изменениям, которые произошли за последние 50 лет, чтобы суметь поместить их в правильную перспективу.

Хочу высказать предположение, что социальный характер настоящего дает еще одну точку зрения, с которой можно подойти к этой ситуации. Я говорил о социальных импликациях эмерджентного настоящего, выраженных в занятии новым объектом и старой, и новой систем; социальность дана здесь в непосредственной связи прошлого и настоящего. Есть еще другой аспект социальности, который выражен в систематическом характере преходящего настоящего. Как мы видели, при переходе из прошлого в будущее настоящий объект является как старым, так и новым, и это же касается его связей со всеми другими членами системы, к которой он принадлежит. До приближения к нашему Солнцу звездного гостя характер той части Солнца, которая стала Землей, определялся ее связями с частями солнечного вещества, ставшими другими планетами. Переходя в свое планетное состояние, Земля удерживает это качество, проистекающее из прежней конфигурации, и приобретает новое качество, выражающееся в пертурбациях ее орбиты под влиянием ее соседей. Суть в том, что тело, принадлежащее к системе и обладающее природой, которая определяется его связями с членами

этой системы, при переходе в новый систематический порядок будет переносить в свой процесс переприспособления к новой системе нечто от природы всех членов старой системы. Так и в истории сообщества его члены переносят из старого порядка свои качества, детерминированные социальными отношениями, во все переприспособления социального изменения. Старая система обнаруживается в каждом члене, и в случае революции она становится структурой, на основе которой утверждается новый порядок. Так, Руссо пришлось обнаружить в гражданине суверена и подданного, а Канту в рациональном существе — издателя нравственного закона и того, кто этому закону подчинен. Если вернуться к эволюции Солнечной системы, то орбита Земли до сих пор очерчивает расположенное в центре Солнце, частью которого она была, а ее движения относительно других членов Солнечной системы отражают их положения в Солнце до пришествия звездного гостя.

Я указывал на возрастание массы движущегося объекта как на предельный пример социальности. Иначе говоря, удерживая это возрастание массы в поле возможного опыта, мы вынуждены трактовать движущееся тело как находящееся в двух разных системах, ибо движущийся объект имеет свое время, свое пространство и обусловленную его движением массу, и эти время, пространство и масса отличаются от времени, пространства и массы системы, относительно которой он движется. Парадоксы, возникающие из этого занятия движущимся телом иной системы, известны. Что я хочу отметить, так это то, что здесь мы находим крайний предел этой социальности, ибо каждое тело благодаря своей скорости имеет свою систему пространства-времени и энергии. Эта скорость, однако, соотносится с системой, в которой тело движется, и это тело имело бы другую скорость относительно другой системы, движущейся относительно первой. Тогда тело имело бы бесконечное множество измерений массы в бесконечном множестве систем, по отношению к которым оно может мыслиться как движущееся. Оно занимает все эти разные системы.

Теперь можно установить метафизическое пространство-время с его совпадениями событий и его интервалами как реальность, к которой эти системы координат отсылают, или удерживать в поле опыта и применять формулы преобразования, которые, как было показано, необходимы для точного измерения. Возникает вопрос: что именно заключено в применении формул преобразования? В ситуациях, в которых в опыте непосредственно присутствует относительность движения — скажем, возможность движения своего поезда, когда соседний поезд стоит на месте, — не нужно никаких преобразований. В этих случаях мы скрадываем разницу во временных системах, говоря, что различия в пространственных и временных параметрах настолько невообразимо малы, что эти формулы применить нельзя, и что только при скоростях, близких к скорости света, возникают и требуют признания ощутимые различия. Это сокрытие вопроса фундаментальной важности. Когда мимо нас несется поезд, он пребывает в нашем мире пространства и времени. Если бы мы приняли релятивистскую точку зрения и рассматривали этот поезд как покоящийся, а землю как несущуюся мимо него, то мы бы по-настоящему перешли из одной перспективы в другую, но тогда поезд не был бы движущимся, а в настоящем случае поезд движется. Когда мы вычисляем изменение в пространственных, временных и массовых свойствах α -частицы, выскочившей из атома, мы трактуем ее, конечно, как находящуюся в ином пространстве-времени, нежели наше, поскольку придаем ей параметры, принадлежащие ее пространству-времени, в том числе изменение в массе. С точки зрения Ньютоновой относительности две системы пространства-времени являются альтернативами и не могут быть обе применены к одной ситуации, разве что поочередно. Но когда мы используем формулу преобразований Лоренца, мы даем телу характеристики, принадлежащие другой системе пространства-времени, а результат используем в своей собственной. Это четко видно, когда мы просто утверждаем, что тело возрастает в массе с увеличением скорости, но не добавляем, что единицы измерения

III. СОЦИАЛЬНАЯ ПРИРОДА НАСТОЯЩЕГО

пространства и времени тоже меняются, т.е. что мы находимся в другой системе координат, которая альтернативна нашей собственной и не может быть одновременно с ней применена. Нам говорят, однако, что если бы мимо нас со скоростью 161 тыс. миль в секунду пронесся аэроплан, то мы увидели бы сжатие и замедление временной протяженности процессов, т.е. узрели бы в собственной системе пространства-времени эффекты пребывания в другой системе пространства-времени¹. То есть две системы координат перестают быть альтернативами. У Фицджеральда не было в случае сжатия такого допущения бытия сразу в двух системах, но не было и ссылки на различие в одновременностях.

Так вот, Эйнштейн пытается дать процедуру, посредством которой мы можем быть в одной пространственно-временной системе и регистрировать в ней эффекты различий, обусловленных другой пространственно-временной системой. Во-первых, эта процедура принимает единообразную скорость света как природный факт. Во-вторых, на основе этой единообразной скорости света задается система сигналов, с помощью которой мы можем установить в нашей системе, что события, одновременные в нашей системе, оказываются неодновременными в системе, движущейся относительно нашей. Более того, эффект этого различия можно сделать очевидным, как в случае пролетающего аэроплана, через зрение, т.е. через свет. Это означает, что как пространственные перспективы возникают для нас в нашем статичном ландшафте, так и временные перспективы открываются на фоне движущихся в этом ландшафте объектов. Эта перспективность темпорального рода может обнаружиться только на фоне движений с очень большими скоростями, но принцип ее задан так же определенно, как и в случае пространственных перспектив. Этот принцип состоит в том, что открываемые

¹ *Eddington A.S. Space, Time, and Gravitation...* P. 22ff. Более сбалансированное описание релятивистской теории читатель сможет найти в книге: *Metz A. Temps, espace, relativité.* P.: G. Beauchesne, 1928.

измерением параметры должны сжиматься в направлении движения, при условии, что это происходит в визуальном поле. Если бы скорость света была бесконечной, то сжатия бы не было, ведь тогда световая волна, покидающая один конец объекта, достигала бы нас в тот же момент, что и световая волна с другого конца, независимо от быстроты движения. Следовательно, только когда скорости приближаются к скорости света, такая перспектива входит в опыт, да и то лишь косвенно, как в расчетах изменения массы частицы, вылетевшей из атома. Но если бы мы смогли увидеть то, что обнаруживается в гипотетическом аэроплане Эддингтона, то мы получили бы визуальную временную перспективу напрямую, ибо время, разумеется, замедляется пропорционально сжатию пространственных параметров. Естественно было бы допустить, что временные перспективы должны рассматриваться в том же свете, что и пространственные. Реальные параметры и реальное течение времени таковы, какими их находят пассажиры аэроплана, и точно так же их искаженное видение нас должно корректироваться тем, что мы находим вокруг себя и что мы находим происходящим вокруг нас.

Именно в этом пункте обретают значимость преобразования Лармора — Лоренца и негативные результаты эксперимента Майкельсона — Морли. Эти преобразования были разработаны с целью указать на математически устанавливаемые условия, при которых были бы инвариантны уравнения Максвелла для электромагнетизма. Уравнения Ньютона инвариантны в области Ньютоновой механики. Иначе говоря, они остаются истинными, какая бы исходная точка ни бралась за начало координат и, в случае относительного движения систем с единообразной скоростью, какая бы система ни рассматривалась как движущаяся. Оказалось, что для достижения инвариантности уравнений Максвелла символы, относящиеся к пространству, времени и энергии, в том числе массе, необходимо сопроводить коэффициентом $1/c$, где c — единообразная скорость электромагнитной волны (одной из форм которой яв-

ляется свет) в вакууме. Изменения в пространственных и временных параметрах, которых требует эта формула преобразования, суть изменения, которых требуют временные перспективы, о которых я говорил выше; для скорости света принимается то же абсолютное значение. Кроме того, эта формула трансформации дает то сжатие диаметра Земли в направлении ее движения по своей орбите, которое объясняет негативный результат эксперимента Майкельсона — Морли.

Помимо удивительного совпадения результатов, достигаемых с помощью формул преобразования, теории относительности Эйнштейна и итога эксперимента Майкельсона — Морли, бросается в глаза общее для них допущение постоянной скорости света. В случае формул преобразования нет ничего удивительного в том, что константа должна искажаться в таком фундаментальном свойстве, как скорость электромагнитной волны. В случае теории относительности возможность измерений в разных пространственно-временных системах с помощью световых сигналов предполагает единообразие скорости света, и это служит объяснением негативного результата эксперимента Майкельсона — Морли. Уайтхед пишет: «Это означает, что волны или другие влияния, движущиеся со скоростью c относительно пространства любого согласованного множества Ньютоновой группы, будут двигаться с той же скоростью c и относительно пространства любого другого такого множества»².

К описанию этой конъюнкции следовало бы добавить еще переброшку атома из царства механики масс в сферу электромагнетизма и выражение распределения энергии в терминах полей. Важность этих перемен состоит в изменении соотношений реальности с дистанционным и контактным опытом. Прежде существовало тесное соотношение между механикой масс и перцептуальной реальностью. Реальность того, что мы видели, должна была обнаруживаться в том, что мы могли по-

² Whitehead A.N. The Enquiry Concerning Principles... P. 43.

лучить в руки, а то, что мы получали в руки, гармонировало в воображении с массой как количеством материи. Но еще важнее было то, что мы считали реальность заключенной в самом объеме, в обособлении от ее связей, полагали, что реальность вещи может иметь место до системы, в которую она входит. Все вариации того, что я назвал пространственными перспективами одних и тех же объектов, отсылают к идентичным объектам, находимым в области контактного опыта — того, что мы осязаем и видим одновременно, — и это касается не только наших перспектив, но и перспектив других. Это находит точное выражение в конгруэнтности. То, что я назвал временными перспективами, не проявляется в опыте, разве что в таких в высокой степени воображаемых презентациях, как аэроплан Эддингтона. Но в перспективах, содержащих в себе различия в одновременностях, мы, видимо, выходим за пределы их перцептуального разрешения в области контактного опыта. Мы вынуждены приводить их в согласие друг с другом путем преобразований. И это та ситуация, которая подходит для инвариантности уравнений Максвелла. Мир, видимый с точек зрения разных пространственно-временных систем, с разными значениями для общих единиц пространства, времени и энергии, может быть сведен воедино лишь с помощью преобразований. Между электромагнитным миром и миром дистанционного опыта, т.е. зрительных переживаний, имеется такой же тесный параллелизм, как и между миром механики масс и нашим контактным опытом.

В этом полном соответствии, однако, есть брешь. Как я уже показал, рост массы движущегося тела происходит в той пространственно-временной системе, в которой оно движется, однако расчет возрастания массы производится с помощью пространственных и временных единиц, принадлежащих иной пространственно-временной системе, хотя при этом измеряется рост массы в пространственно-временной системе, в которой имеет место движение. Замеряя показания стрелок, мы, с нашими одновременностями, действи-

тельно обнаруживаем, что масса α -частицы возросла. Это увеличение массы мы могли бы обнаружить и без использования аппарата относительности, но для объяснения его мы привлекаем теорию, предполагающую, что часы на α -частице будут идти медленнее, чем наши часы, и именно с помощью расчетов, предполагающих время α -частицы, мы добираемся до того изменения в массе, которое открываем в собственной временной системе. Иначе говоря, брешь в соответствии возникает в тот момент, когда мы проверяем его экспериментальными данными; а они должны иметь собственную реальность, иначе не могли бы проверять гипотезу. Мы должны уметь формулировать факты, заключенные в нашем аппарате, часах, электрометрах, в терминах, независимых от преобразований Лоренца и относительности Эйнштейна. И в этом мире окончательного вердикта прибора, здания, в котором он находится, земли, на которой оно стоит, и их окрестностей высшая реальность принадлежит не дистанционному опыту, а тому, что может быть представлено в контактном опыте, обещание или угроза которого таится в этом дистанционном опыте. Чтобы не возвращаться из области опыта в метафизический мир пространства-времени Минковского с его событиями и интервалами, мы должны вернуться к перцептуальному миру научных открытий.

Позвольте мне еще раз обрисовать ситуацию. Изменения, которые происходят в электромагнитном поле, не могут быть установлены в некотором множестве уравнений, инвариантных в отношении пространства и времени. В поле, в котором разворачивается изменение, необходимо допустить иную пространственно-временную структуру. Часы идут медленнее, диаметры вещей в направлении движения уменьшаются, тогда как масса возрастает. Теоретически все эти изменения регистрируются в покоящемся поле, внутри которого происходит движение. Но расчет их предполагает пространственно-временное упорядочение, не принадлежащее этому полю. Он предполагает другую точку отсчета. Перцептуальная реальность, с которой соот-

носятся эти изменения в поле дистанционного опыта, различается сообразно тому, схватываются ли они с точки зрения одной области соотнесения или другой. Это выявляет еще одно поразительное свойство этой ситуации, и состоит оно в том, что вещи, субстанция которых принадлежит полю электромагнетизма, нельзя определить в терминах, которые допускали бы их обособление как перцептуальных данных. Для такой ситуации необходимо, чтобы реальность могла быть опознана в вещи, которая может быть дана в пространственно-временных элементах восприятия, скажем, в показаниях стрелок на приборе. Такова, на чем я настаивал, характеристика массы. Хотя мы можем определить массу только в терминах системы тел, движущихся относительно друг друга, мы можем представить субстанцию массивной вещи как находящуюся внутри объема, который мы видим или воображаем, а затем связать ее — действительно или в воображении — с другими вещами. Электричество же как субстанцию электрона можно мыслить лишь в терминах его поля и отношений этого поля с полями других электронов. Фарадеевы силовые и эфирные трубки использовались как материал с целью обеспечения такого независимого содержания и исчезали в наших пальцах. Сложилось так, что наука обратилась к структуре вещей, которая может быть установлена, со стороны восприятия, только в терминах дистанционного опыта. Это не создает никаких проблем в структуре наших теорий. Мы знаем количество энергии в системе и можем разместить ее в разных членах этой системы, которые поддаются локализации в пространстве и времени; но мы не можем, так сказать, взять отдельный элемент в руки и сказать, что он содержит некоторое количество энергии, конституирующее «что» этого объекта, а затем связать его с другими вещами, имеющими схожие содержания. Энергия мыслима лишь в терминах системы, уже наличной для мышления, имеющего дело с вещью. Важность контактного опыта для научного метода состоит не в большей реальности осязательного опыта, или переживания со-

противления, по сравнению с переживанием цвета или звука, а в том, что наблюдение и эксперимент обращаются к дистанционному опыту, который должен быть прямо или косвенно соотнесен с тем, что мы можем в действии или в мысли потрогать руками. Это остается проверкой реальности восприятия и, следовательно, проверкой того, что открывает ученый в наблюдении и эксперименте, и это — условие схватывания факта как реального самого по себе, независимо от разного рода гипотез, выдвигаемых для его объяснения.

До сих пор было привычно находить реальность восприятия в опыте индивида, и это порождало всякого рода трудности, связанные с размещением этого индивидуального опыта в реальности мира, к которому индивид принадлежит, особенно когда такой опыт используется для критики теорий об этом мире. Ученый довольствовался тем, что находил в опыте индивида ту же пространственную и временную структуру, которую находил в мире, и, исходя из этого, размещал наблюдения индивида в окружающем мире со всей точностью, которую делает возможным пространственно-временное измерение. Теория относительности — с теорией электромагнетизма, из которой она в значительной степени выросла, — не только крайне усложнила пространственно-временную теорию измерения, но и перевернула то, что можно назвать референцией к реальности. Вместо того чтобы говорить, что реальность перспектив нашего дистанционного опыта обнаруживается в том контактном опыте, который прочно укоренен в геометрии Евклидова пространства и в равномерном потоке единообразного времени, мы должны говорить, что до реальности воспринимаемого мы сможем добраться, только если сможем прорваться через это мнимо Евклидово пространство нашего контактного мира в перспективы, зависящие от движения отдаленных объектов, и открыть связывающие их формулы преобразования. Более того, мы не можем, вооружившись своими любимыми перцептуальными моделями, построить, допустим, атом Бора из нескольких прото-

нов и электронов, соединенных в ядро, вокруг которого были бы прикреплены на орбитах вращения другие электроны. Положительные и отрицательные заряды, которые мы используем как материю этих конечных частиц, не поддаются такому воображаемому перцептуальному анализу. Можно говорить о диаметре электрона, пытаться локализовать его заряд, но выделить таким образом субстанциальное качество электричества нельзя, и атом Бора рушится. В последнее время сочли удобным трактовать материю как форму колебания, но искать, что именно колеблется, нет смысла.

И все же зависимость научной теории от перцептуальных открытий еще никогда не была выражена так сильно, и на эту зависимость я хочу обратить внимание. Как я показал, альтернативой будет, видимо, референция к метафизическому миру, допустить который можно только вместе с допущением, что логические паттерны, находимые нами в нашем мире, имеют корреляты в этом метафизическом мире. Наш опыт становится при этом субъективным, если не брать то, что наши мысленные связи, возможно, могут выходить за рамки наших систем координат. Пока не было теории относительности, пространственная и временная структура наблюдаемого факта являла собой структуру мироздания. Как бы относительны ни были для наблюдателя чувственные качества наблюдаемого объекта, его перцептуальное определение в пространстве и времени давало ему фиксированные очертания и место в реляционной структуре, которая была, по крайней мере для ученого, абсолютной структурой мира, так что в механике масс субстанциальное содержание любого объема могло мыслиться как заключенное внутри этого определенного объема. Перцепция давала как логическую структуру реальности, так и определенное обиталище субстанции. Старая теория газов и тепла как формы движения великолепно иллюстрирует простоту этой ситуации. Теперь же ни реляционная структура реальности, ни локус ее субстанции не обнаруживаются в перцептуальной ситуации. Но поскольку ученый

III. Социальная природа настоящего

может получить метафизическое пространство-время с его событиями и интервалами только путем допущения, и никак иначе, и поскольку он никогда не может схватить поле любого энергетического содержания целиком, то он обязан проверять свои гипотезы, размещая себя в собственной перцептуальной ситуации, взятой, скажем, как покоящаяся система, а также в ситуации системы, которая движется относительно его собственной, и сравнивать пространственно-временные структуры этих систем. Он прибегает к преобразованиям, но это преобразования, возможные лишь постольку, поскольку наблюдатель схватывает то в собственной ситуации, что предполагает его размещение себя в ситуации того, что он наблюдает. Хотя процедура эта оказывается сложнее, она возвращается в своих открытиях к перцептуальным событиям. А это возможно лишь при условии, что эта социальность мышления, в которой мы занимаем установку другого, принимая собственную, отличную от нее установку, свойственна также и природе. Ньютонова относительность *позволяла* наблюдателю переносить себя из одной системы в другую и замечать, что относительные положения тел в этих двух системах остаются теми же самыми, какую бы систему он ни занимал, и что законы механики выполняются в обоих случаях. Но электромагнитная относительность обнаруживает внутри нашей системы результаты, которые *заставляют* нас обращаться к другой системе с ее пространственно-временной структурой, чтобы их объяснить. При Ньютоновой относительности социальность ограничивалась мышлением. Если даны две системы, движущиеся относительно друг друга, то условия каждой будут всегда оставаться теми же самыми; движение или покой другой не будут оказывать на них влияние. При электромагнитной относительности масса движущегося объекта в системе, находящейся в покое, возрастает, и это предполагает иные пространственные и временные коэффициенты другой системы. Этот разрыв в том, что я назвал соотношениями между различиями пространства и времени в разных

системах, открывает в перцептуальном мире ту социальность природы, которую обычно относили лишь к мышлению. Возрастающая масса в покоящейся системе должна соответственно двигаться по собственным часам и в пространстве, измеряемом ее собственной меркой, чтобы могло происходить возрастание ее массы в другой системе. Мы уже видели, что в природе есть социальность, поскольку возникновение нового требует, чтобы объекты пребывали сразу и в старой системе, и в той, которая возникает вместе с этой новизной. Относительность обнаруживает ситуацию, в которой объект должен пребывать одновременно в разных системах, чтобы быть тем, что он есть, в каждой из них. Все экспериментальные доказательства относительности так или иначе возвращаются к таким ситуациям.

Я отмечал, что в науке это никакая не новость, хотя это всегда подразумевалось как нерешенная проблема. Эту проблему преподносят нам телеология в биологии и сознание в психологии. Животный вид в механической системе определен как прошлыми условиями, так и тенденциями к самосохранению в будущем. Поведение сознательного организма определяется и унаследованной из прошлого физиологической системой, и устремленным в будущее сознанием. Это, разумеется, может иметь место лишь в настоящем, в котором обнаруживаются как обуславливающее прошлое, так и эмерджентное будущее; но, как показывают эти проблемы, требуется еще и признание того, что в настоящем размещение объекта в одной системе размещает его также и в других. Это я и назвал социальностью настоящего. Если мы рассматриваем эту ситуацию с точки зрения относительности, то мы видим, что само движение, происходящее внутри покоящейся системы, привносит иную пространственно-временную структуру, ответственную за возрастание массы внутри этой покоящейся системы. Если перенести это на две указанные нами ситуации, то мы увидим возникновение биохимического процесса, который мы называем жизнью, но который так изменяет условия, при которых

она продолжается, что в природе возникает ее среда; и мы увидим, как живые формы отбирают прошлые условия, ведущие к будущему сохранению жизни, вводя тем самым в природу ценности, а позднее значения.

Если мы ищем прошлое, обуславливающее эмерджентность настоящего, то мы не можем найти для него иной формулировки, нежели следующая: все эмерджентное должно быть подчинено обуславливающему характеру настоящего, и должно быть возможно установление эмерджентного в терминах обуславливающего прошлого. При Ньютоновой относительности в случае неускоряющегося движения двух систем относительно друг друга обуславливающее прошлое суммировалось в правиле сохранения тождественного относительного положения тел в двух системах и тождественной механической ситуации, какая бы система ни бралась как движущаяся. В этой ситуации нет эмерджентности. Если теперь в эту Ньютонову относительность ввести специальный принцип относительности, то мы получим возникновение новых качеств движущегося тела в системе, в которой оно движется, вследствие его движения. И если мы опишем это тело в старых условиях, то мы должны будем свести его к покою, который только и может иметь место без потери той реальности, которую несет с собой эмерджентное движение при приведении в движение другой системы и появлении эмерджентных изменений в этой системе. В случае общей теории относительности Эйнштейн взялся сформулировать универсальные условия, при которых, видимо, происходят изменения в пространственно-временной структуре мира — изменения, обусловленные как не ускоряющимся, так и ускоряющимся движением. Он показал, что они являются также условиями изменений в массе, и работает над тем, чтобы показать, что то же самое верно для электромагнетизма.

Итак, принцип социальности, который я пытаюсь прояснить, состоит в том, что в настоящем, в котором происходит эмерджентное изменение, эмерджентный объект в силу своей систематической связи с другими структурами принадлежит в переходе от старого к но-

вому к разным системам и обладает качествами, вытекающими из его членства в этих разных системах. Хотя с наибольшей ясностью этот принцип был подтвержден в доктрине относительности применительно к физической теории, там он для нашего опыта наименее очевиден, так как, например, изменения в массе, вызванные привычными нам скоростями, настолько малы, что изменения в законе Ньютона оказываются в области дальних десятичных знаков. Вместе с тем электромагнитная теория относительности смогла представить нам форму эмерджентного с высокой точностью. Мы знаем, какого типа изменения будут происходить, если в некоторой системе появится хотя бы какая-то скорость. Здесь мы имеем дело просто со связью структур пространства и времени с движением. Если мы обратимся к двум другим примерам социальности, которые я приводил, — примеру жизни и примеру сознания, — то окажемся в крайне сложных и труднодостижимых ситуациях. Выясняется, что понимание жизни, которым мы располагаем, предполагает референцию к будущему в сохранении формы и биологического вида. Мы знаем, что процесс жизни — это физико-химический процесс, но каков точно его характер, мы не знаем так, как знаем характер скорости. Мы знаем, однако, что процессы жизни не замыкаются в организме, а, взятые в целом, включают взаимодействия между организмом и его окружениями, и этот окружающий мир, поскольку он вовлечен в эти процессы, мы называем средой формы и ее вида. Иначе говоря, мы признаем, что эмерджентная жизнь меняет характер мира так же, как эмерджентные скорости меняют характер масс. Мы знаем, что процессы, которые мы называем сознательными, суть физиологические процессы, что те процессы, которые мы обычно называем поведением, используют эти организованные приспособления для отбора объектов, на которые они реагируют, и что в результате этого поведения вещи, находящиеся в среде этих живых сознательных форм, приобретают ценности и значения. Мы знаем, что процессы сознания зависят от высоко-

го уровня развития головного мозга, вырастающего из нервного механизма дистанционной стимуляции и отложенных реакций, ставших возможными благодаря дистанционным стимулам. Целостность такой нервной системы дает поле и механизм для отбора, соотношенного с дальними будущими, и этот отбор наделяет окружающие объекты ценностями и значениями, которым это будущее противопоставляется. Но каков именно физиологический процесс, дающий в распоряжение индивидуального организма его высокоорганизованные реакции для различения и отбора, никто не знает. Есть вместе с тем и огромная разница между применениями принципа социальности в этих разных областях. В области физической относительности мы знаем процесс движения с большой точностью, но есть всего три-четыре малоизвестных эксперимента, в которых мы можем вовлечь в свой опыт изменения в качествах вещей, вызываемые скоростями. И в то же время следствия, вызываемые процессами жизни и сознания, куда ни глянь, очевидны, хотя природа этих процессов до сих пор сокрыта в непроглядной мгле. Тем не менее во всех трех областях действует принцип социальности. Во всех трех присутствует эмерджентность, и характер этой эмерджентности обусловлен присутствием одного и того же объекта или группы объектов в разных системах. Так, мы выясняем, что в некоей системе, имеющей определенные свойства пространства, времени и энергии, объект, движущийся с высокой скоростью, обретает все большую массу в силу того, что характеризуется иными коэффициентами пространства, времени и энергии, и это сказывается на всей физической системе. Схожим образом, вследствие того, что животное является одновременно живым существом и частью физико-химического мира, жизнь эмерджентна и простирает свое влияние на среду, которая ее окружает. А в силу того, что сознательный индивид, будучи животным, способен в то же время смотреть в прошлое и будущее, возникает сознание со значениями и ценностями, которыми оно наполняет мир.

IV. Импликации Я

Я указал свою позицию по поводу так называемой эпистемологической проблемы; суть ее в том, что познание есть предприятие, всегда происходящее в некоторой ситуации, не втянутой в неведение или неопределенность, которые знание стремится рассеять. Тогда познание нельзя отождествить с наличием содержания в опыте. Нет сознательной установки, которая познавательна сама по себе. Познание — это заключенный в поведении процесс, так организующий поле действия, чтобы в нем происходили отложенные и приостановленные реакции. Критерий успеха в процессе познания, т.е. критерий истины, обнаруживается в открытии или построении таких объектов, которые примиряют наши конфликтующие и сдерживаемые деятельности и позволяют поведению продолжаться. Познание строится на гипотетических умозаклучениях и всегда предполагает, что данное включено в вывод. Рефлексия — это осуществление умозаклучений в области идеации, т.е. символическая переработка содержаний и качеств вещей, с помощью которой могут быть получены искомые конструкции объектов.

Идеация явно возникает внутри того, что мы имеем сознанием, и, следовательно, нам требуется рассмотреть сознание. Низшая форма сознания, которую мы приписываем живым вещам, — это ощущение. Обычно мы не считаем, что живые формы, у которых нет центральной нервной системы, обладают ощущением, но на этот счет есть и иные мнения. Наивное суждение исходит из очевидности того, что реакцию вызывает то, что хорошо или плохо для животного. Мы предполагаем принятие и отвержение и приписываем этим двум установкам соответственно удовольствие и неудовольствие. Признаки принятия и отвержения есть даже в поведении некоторых одноклеточных форм, и, соответственно, мы находим биологов и психологов, приписывающих сознание в этой

низшей форме даже этим организмам. Удовольствия и неудовольствия входят в разряд того, что мы называем органическими переживаниями — по крайней мере, в ситуациях, о которых идет речь, — и наша инстинктивная склонность связывать их с принятием и отвержением указывает на полагание того, что в опыт животного входят состояния собственного организма. На этом низшем пределе того, что можно назвать возникновением сознания, мы предполагаем, что организм реагирует на условия, заключенные в его жизненном процессе. Под такое общее толкование сознания, несомненно, подпадают многие реакции растений. Однако тот факт, что растения в своих принятиях и отвержениях не реагируют как целое, выводит растения за рамки нашего обычного обобщения.

Итак, первое условие сознания — это жизнь, процесс, в котором индивид своим действием стремится поддержать этот процесс в самом себе и в последующих поколениях, процесс, выходящий вон из того, что происходит в организме, в окружающий мир и во многом определяющий тот мир, который обнаруживается в этих деятельности как среда индивида. Второе условие состоит в том, чтобы живая форма в своем телеологическом процессе могла целенаправленно реагировать как целое на состояния своего организма. Между тем я определил эмерджентность как присутствие вещей в двух или более разных системах, причем такое, что присутствие вещи в последующей системе меняет ее характер в предшествующей системе или системах, к которым она принадлежит. Следовательно, говоря, что низшей формой сознания является ощущение, мы подразумеваем, что если живые формы входят в такой систематический процесс и начинают реагировать на свои состояния целенаправленно и как целостности, то внутри жизни возникает сознание как ощущение. Я предположил, что возникает систематический физико-химический процесс, который отбирает, на что ему реагировать так, чтобы самому при этом сохраняться, и этот процесс, появляющийся внутри

физического мира, возникает как жизнь. Теперь же в эту ситуацию входит форма, не только живущая, но и делающая свои благоприятные или неблагоприятные для жизни органические состояния частью той области, на которую она реагирует или в которой она живет. Сознательная форма — это форма, которая может сделать фазы своего жизненного процесса частями своей среды. Животное, отбирающее некоторые из своих жизненных состояний подобно тому, как корни растения отбирают воду, когда оно в ней нуждается, не только живет, как растение, но и испытывает жажду. Термин «ощущение» мы используем для обозначения элемента, добавляющегося к жизни, когда животное входит в какой-то степени в свою среду.

Так вот, биологическим механизмом, благодаря которому это, видимо, происходит, является нервная система, ибо она не только позволяет животному отбирать подходящие стимулы, но и делает функционирование поверхностей его тела, которые соприкасаются с отбираемой пищей, частью объекта, на который животное реагирует. Животное не только поглощает пищу, но и чувствует ее вкус. Я назвал также эмерджентность выражением социальности. Животное — часть не только неодушевленного, но и одушевленного мира: сознательное животное не только отбирает объекты, но и чувственно их воспринимает. Таким образом, оно находится на пути к становлению частью мира, в котором оно живет. Ранняя форма сознания заключена в сфере контактного опыта. Здесь животное реагирует на объект и, через это, на самое себя, но не как на целое, а только на функционирование контактирующих поверхностей. Позднее в его реакции на свои органические состояния вовлекаются отдаленные стимулы, и эти стимулы входят в поле сознания. Таким образом, животное все плотнее становится частью мира окружающих его объектов. Колоссальный скачок, однако, происходит с развитием головного мозга. В первую очередь это нервный центр важных дистанционных чувств. По мере того как последние становятся все бо-

лее могущественными и утонченными в своих различениях, контактные опыты, на которые они реагируют, откладываются, и тем самым возрастают возможности приспособления и выбора в реагировании. В иннервациях установок, вызываемых отдаленными объектами, животное чувствует приглашение или угрозу, которые те с собой несут. Оно переживает в своей реакции на дистанционную стимуляцию собственные подавленные реакции. Его реакции на собственные тенденции действия обеспечивают контроль, организующий все его реакции в координированный акт, так что по мере развития данного механизма эти внутренние чувства возрастают в важности. Таким же важным является и заключенное в дистанционной стимуляции разделение содержания опыта и непосредственной реакции. Именно здесь мы впервые встречаем материал идеации. В самой по себе дистанционной стимуляции кроме нее самой, разумеется, ничего нет. Только когда в эту дистанционную стимуляцию включается организм, она входит в поле так называемого сознания. Материал для идеации черпается из пробуждения отложенных и взаимно конфликтующих реакций.

Позвольте мне еще раз очертить ситуацию, внутри которой появляется сознание. Прежде всего живые формы реагируют на внешнюю стимуляцию таким образом, чтобы сохранить жизненный процесс. Особым методом, отличающим их реакции от движений неодушевленных объектов, является отбор. Отбор обусловлен восприимчивостью живой формы. Из неодушевленных процессов к отбору ближе всего катализ. Можно сказать, что живая форма постоянно себя катализирует. Ее состояние определяет объекты и влияния, на которые она будет реагировать. Сознательное животное вносит отбор в область своего реагирования. Оно реагирует на влияние, или воздействие, оказываемое на него внешним миром. Непосредственным воздействием пищи на животное является поглощение, и все своеобразие жизни соответствующего животного сводится к тому, что оно отбирает через сенсibiliза-

цию организма эту субстанцию, на которую оно будет реагировать, — иными словами, свою пищу. Мы можем повысить механическими средствами чувствительность фотопластинки. Структура такой пластины поддерживается механическими силами. Если бы пластина сама, оперируя этими силами, настраивалась на свет, то она была бы живой формой. Воздействие света на животное или растение — фотохимический процесс, такой же механический, как и воздействие его на кодаковскую фотопленку. Так же и реакция формы на пищевую субстанцию, втянутую в контакт с ней, является механической. Как живая форма она отобрала, что проглотить, а механика заботится о процессе поглощения. Но если в процессе поглощения животное находит стимуляцию к тому, чтобы направить, ускорить или придержать этот процесс, то собственная деятельность становится для него в поддержании жизненного процесса, т.е. в еде, объектом отбора. В этом случае животное стало сознательным. Главная трудность при работе с подобными вещами кроется в нашей склонности замыкать жизнь и сознание в границах организма. Отбор, несомненно, сокрыт в живой форме, но жить такая форма может лишь в определенном рода физической среде. Жизненные процессы включают деятельные связи с объектами в среде, а сознательные жизненные процессы — еще и сами такие объекты. Реакция организма на собственную реакцию на пищу, несомненно, заключена в организме, но только как часть целостного процесса питания, включающего также и пищу. Ограничить сознание реакцией организма на свою пищу — значит не только вырвать его из его обстановки, но и не понимать, что это лишь одна из фаз процесса питания. Осознанное питание — это смакование пищи; и переводение смакования пищи в другие реакции организма на его реакции по отношению к вещам не только влечет безнадежную путаницу, но и лишает такие реакции всякого смысла. Жизнь становится сознательной в тех точках,

где собственные реакции организма входят как часть в то объективное поле, на которое он реагирует.

Это подводит нас к чувственным качествам вещей. Осознанное наслаждение животного ароматом пищи — это состояние, которым его организм реагирует на поедание пищи с определенными качествами. Отбор этих качеств есть часть жизненного процесса, и он может быть совершенно специфичным для конкретного индивида: *de gustibus non est disputandum*. Принадлежит ли ему запах в том же смысле, в каком и удовольствие? Животное чувствует запах так же реально, как и собственное удовольствие. Сознательная фаза этого сенсорного процесса состоит в использовании им избирательного различения при обнюхивании пищи, но если обоняние принадлежит ему, то запах — определенно нет. Поскольку же его реакции вторгаются в пахнущий объект, поскольку этот объект есть то, что предстоит схватить или отвергнуть, это явно дело сознания. Если мы пойдем дальше и спросим, принадлежит ли животному цвет, запах, теплота или гладкость объекта отдельно от реакции организма, заключенной в чувственном восприятии качества, то, вероятно, мы задаем два вопроса. На первый — о том, принадлежит ли запах организму так же, как и удовольствие, — мы уже ответили отрицательно. Статус удовольствия был бы ближе всего к тому, что мы имеем в виду под «состоянием сознания». На второй вопрос — является ли так называемое чувственное качество, отдельно от его восприятия, состоянием сознания в том смысле, в каком мы определили сознание, — ответ тоже уже дан; однако еще одна его импликация, состоящая в том, что чувственного качества не было бы, если бы не было животного, обращает наше внимание на связь формы со своей средой. Как параллельных прямых, встречающихся на горизонте, не существовало бы без оптического аппарата, ведущего к схождению линий, так же можно сказать, что и цвета не существовало бы без аппарата сетчатки и стоящего за ней механизма.

Сравнение это неудачное, ибо мы можем сконструировать оптический аппарат, в соотношении с которым сходятся параллельные прямые, но не можем сконструировать сетчатку, в соотношении с которой мир приобретает цвета. Но что по-настоящему въелось в наш ум, так это идея, что реальная поверхность образуется из колеблющихся молекул, а потому цвет не может располагаться на объекте и должен быть помещен в сознание ввиду отсутствия любого другого местоположения. То, что колеблющиеся молекулы не желтые поверхности, — это так. Но отсюда не вытекает невозможность существования колеблющихся молекул как цветных поверхностей для животных с определенными зрительными аппаратами. Помимо пространственных и временных перспектив, возможно, есть еще те, которые можно назвать сенсорными. Как бы там ни было, называть цвет состоянием сознания нет смысла, если понимать сознание так, как я его определил.

И все ж таки перцептуальные объекты с их чувственными качествами принадлежат к царству сознания; ведь переживание на расстоянии существует как обещание или угроза контактного переживания, и способом, которым это будущее проникает в объект, является вхождение в него через реакцию организма на собственные реакции. В перцептуальном мире будущее, уже присутствующее в движущемся настоящем, выстраивается благодаря целенаправленным реакциям сознательных организмов. Отдаленный объект становится, таким образом, тем, что мы можем сделать ему, с ним, с помощью него, или тем, что он может сделать нам. Говорить, что он существует в тот миг, когда мы его воспринимаем, значит лишь требовать подтверждения того, что дано в перцепции. Эти целенаправленные реакции присутствуют в организме и как тенденции, и как результаты прошлых реакций, и организм в своей перцепции на них реагирует. Последнюю реакцию мы часто называем образами. Разумеется, многое из того, что мы воспринимаем, образуется из таких образов. Поскольку это различимые образы, они явно того

же рода, что и чувственный материал вещей; поэтому они явно принадлежат настоящему, и о них говорят, что они находятся в разуме и вкладываются в вещи. В сновидениях, грезах и галлюцинациях они составляют преобладающую часть наших объектов. Их связь с нервной системой совершенно неясна. Предполагается, что их появление зависит от условий в центральной нервной системе, обусловленных прошлыми переживаниями, но поместить их в головной мозг можно не больше, чем перцепты; если можно вообще говорить о «материале» образов, то он того же рода, что и материал перцептов. Образы принадлежат перспективе индивида. Только он имеет к ним доступ, и, в конечном счете, это всегда образы, материал которых появлялся в прежней перцепции. Они образуют важнейшую часть среды человеческого индивида. Но обычно они настолько тесно сплавляются с объектами и установками, вместе с которыми они функционируют, и, особенно в речи, с зарождающимися мышечными реакциями, что трудно отграничить и выделить их в нашем действительном опыте. Они функционируют по большей части в выстраивании прошлого и будущего.

С образами тесно связаны идеи. Их тоже считали верным свидетельством того, что есть субстанциальный разум; он постулировался с целью дать имместилище. Поскольку символы, с помощью которых мы мыслим, признаются в значительной мере словесными образами, между идеями и образами имеется теснейшее сродство. Связь эта, разумеется, такая же, как и связь между устным или письменным словом и его значением; но так как слуховой или визуальный образ слова находится, видимо, в разуме, в который помещена идея, то нет ничего необычного в том, что мы, желая провести различие между словами, которыми пользуемся в речи, и значениями, на которые они указывают, отождествляем значение с внутренними словами, с помощью которых осуществляем наше мышление. Во всяком случае, одной из частей идеи, как она явлена в опыте, оказывается некоторый перцептуальный сим-

вол, и неважно, окажется ли он по типу так называемым образом или чем-то видимым или слышимым. Другая часть идеи — универсалия, если говорить языком логика и метафизика, — отходит к тому, что я назвал установками, или организованными реакциями, отбирающими качества вещей, когда они могут быть отделены от ситуаций, в которых они имеют место. В особенности наши привычные реакции на знакомые объекты конституируют для нас идеи этих объектов. Определения, которые мы им даем, служат надежными знаками, с помощью которых мы можем пробуждать идентичные или схожие установки в других. Меня интересуют не логические или метафизические проблемы, ими вызываемые, а то, что они как организованные реакции организма входят в опыт, который мы называем сознательным. Иначе говоря, организм реагирует на эти организованные установки в их связях с объектами так же, как и на другие части своего мира. И так они становятся для индивида объектами.

Именно благодаря этим идеационным процессам мы схватываем условия будущего поведения, находясь в сформированных нами организованных реакциях, и тем самым конструируем наши прошлые в предвосхищении этого будущего. Индивид, способный так их схватить, может организовать их далее через отбор вызывающих их стимуляций и таким образом выстроить свой план действия. На мой взгляд, прошлое всегда конструируется так и, следовательно, всегда соотносено с ситуацией, которая вызывает эту созерцательную установку. До сих пор я просто детализировал содержащиеся в эмерджентной эволюции условия, сделавшие возможными такие созерцательные ситуации.

Обсуждая социальность, я делал упор на заключенный в эмерджентности переход от старой системы к новой, подчеркивая, что в этом переходе эмерджентное находится в обеих системах и является тем, что оно есть, в силу того, что несет в себе сразу качества обеих. Так, движущееся тело имеет прирост массы относительно системы, в которой оно движется, живой

организм обладает способностью к отбору в поддержании жизненного процесса среди неживых вещей, а сознательный индивид откликается на собственные реакции. За счет последнего индивид обретает новый тип контроля в сохранении живого организма и наделяет объекты своей среды ценностями. Другое измерение социальности, где этот термин выражает детерминацию природы объекта природами других объектов, принадлежащих той же системе, явно фигурирует в концепции систем энергии; в развитии многоклеточных форм, у которых жизнь всей системы является интегрированной жизнью образующих ее дифференцированных клеток; в социальных системах, задействованных в размножении вида и в интеграции обществ, — от тех, где сначала достигается баланс между воспроизводством и потреблением одной формы другой, до тех, где социальный процесс опосредован дифференциацией индивидов. Во всех них природа индивида есть в той или иной степени выражение природ других членов системы или общества.

Различие между этими двумя измерениями социальности — темпоральное. Систему можно мысленно застать в каком-то мгновении, и социальное качество отдельного члена будет в это мгновение таким, какое оно есть, в силу взаимных связей всех членов. С другой стороны, объект может быть членом двух расходящихся систем лишь в переходе, в котором его природа в одной системе ведет к преобразованию, которое несет с собой его переход в другую систему. В самом переходном состоянии он может пребывать в обеих системах. Я уже в достаточной мере это проиллюстрировал на примере изменения массы с ростом скорости. В случае живых форм мы, как правило, сталкиваемся с *fait accompli*. В эволюции этих форм должна была возникнуть ситуация, в которой клетка, живущая своей обособленной жизнью, вдруг начинает жить жизнью многоклеточной формы, но зачатки такой ситуации мы можем лишь смутно проследить в эмбриональном развитии, где более высокий уровень питания одних

клеток по сравнению с другими оказывается ведущим к дифференциации. Как дополнительные примеры можно взять мгновение, когда материал, известный ныне как Солнце, впервые принял свою планетарную природу, или мгновение, когда в результате волновых и иных влияний появляется двойная звезда.

Поразительно в относительности то, что изменения в пространственно-временных и энергетических параметрах не являются исходными точками новых структур. Когда в системах возрастает масса тела, в них должно быть какое-то изменение, но это не признак новых порядков. Различия, так сказать, «отменяются» соответствующими изменениями в других системах. Именно эта ситуация всячески подталкивает к допущению реальности, стоящей за разными перспективами, к которой принадлежит реальность опытов в разных системах координат: пространства-времени Минковского с его событиями и интервалами. Но в случае относительности с ее разными перспективами есть и другая возможность — возможность занятия в опыте альтернативных систем. Уайтхед, например, указывает на двойное сознание соположения (*cogredience*), когда наблюдатель идентифицируется и с пространством-временем поезда, и с пространством-временем ландшафта, в котором поезд движется. Теория относительности как доктрина была бы явно невозможна, если бы не этот тип сознания. Доктрину Эйнштейна назвали доктриной сигналов. Она содержит осознание разных значений пространственно-временного порядка событий в разных системах в одно и то же время. Теперь я представил сознание как реакцию организма на собственные реакции с соответствующим изменением в значениях среды. Мир для одного человека один, для другого — другой. Например, доллар для одного человека значит одно, а для другого — другое. Третий, способный принять обе точки зрения, может правильно оценить то, что у него есть, и успешно им распорядиться. Из этой способности возникает абстрактная ценность доллара как средства обмена, и эту ценность он

имеет в мирах всех троих. Мир Минковского должен был бы быть таким значением, прикладываемым к действительным опытам лиц в разных системах, движущихся относительно друг друга, но он таковым не оказывается. Скорее он предстает как система преобразований и констант, которые из них вытрясаются, делаясь символами сущностей, которые не могут войти в существование. В старых воззрениях на относительность обусловленные движением различия в перспективах можно было переводить из одной системы в другую с одним и тем же относительным изменением в положении объектов. Характер объекта в одной системе в силу его движения в другой никак не менялся. Обычно была предпочтительная система, в которую преобразовывались ради общего понимания все другие. Так, мы могли брать координаты фиксированных звезд как основу для понимания движений звезд по отношению к нашей системе. Общей для всех систем была идентичность относительных положений объектов. Электромагнитная относительность, в свою очередь, показала разницу в пространственно-временных и энергетических параметрах движущихся вещей в зависимости от системы, в которой они движутся, так что мы не можем просто перевести нечто из одной системы в другую, и прежде всего не можем установить общую структуру вещей, не зависящую от того, в какой системе они находятся. Математический аппарат преобразований становится слишком сложным.

Метафизический вопрос стоит так: может ли вещь, обладающая меняющимися пространственно-временными и энергетическими параметрами, быть тождественной при разных параметрах, когда у нас есть, по-видимому, только эти параметры, по которым вещь можно определить? Казалось бы, проще сказать, что за этими опытами кроется реальная вещь, а сами опыты субъективны и феноменальны. Но давайте вместо этого примем переход как свойство реальности и признаем, что в процессе перехода структура вещей меняется и что объекты в силу перехода могут занимать разные

системы. Если далее признать, что есть форма социальности, в рамках которой мы можем с помощью системы преобразований переходить от одной системы к другой и занимать, стало быть, обе системы, идентифицируя в каждой одни и те же объекты, то становится возможным переход между альтернативными системами, которые в одновременности взаимно друг друга исключают. Набор преобразований и строящаяся на нем математическая структура в такой же степени части природы, как и все прочее. Это установки, соответствующие значениям вещей, подводимых под наш контроль символами. Переход от движущейся системы к этой же системе в покое, в то время как остальной мир переходит от покоя к движению, означает переход от одного к другому в том, что мы называем разумом. Эти два аспекта существуют в природе, и разум тоже находится в природе. Разум переходит от одного к другому в своем так называемом сознании, и с точки зрения одной установки мир является иным миром, нежели с точки зрения другой. Мы говорим, что мир не может принять оба значения, если они взаимоисключающие; но переход в разуме позволяет ему это сделать с помощью преобразований. Нужно всего лишь признать, что мир имел один аспект с одной точки зрения, что теперь он имеет иной аспект с иной точки зрения и что в природе произошел такой же переход от одного к другому, что и в разуме, подобно тому, как на рынке ценных бумаг происходит переход от одной цены к другой в силу изменения установок в людских умах.

Вопрос, нас интересующий, состоит вот в чем: что именно в природе соответствует преобразованию в математическом разуме? Если принять разум как существующий в природе и признать, что разум с помощью временного параметра социальности переходит от одной системы к другой, так что объекты, к которым математик обращается в одной системе, благодаря формулам преобразования предстают в другой с иными параметрами пространства-времени и энергии; и если признать также, что еще и разумный орга-

низм имеет свой параметр социальности, в силу чего то, что предстает ему то в одной системе, то в другой, располагается, поскольку оно имеет для организма тождественный характер, в некоей системе в мире, соответствующей этому качеству разумного организма, — то мы можем допустить, что константы в этих разных перспективах указывают не на сущности, находящиеся вне возможного опыта, а на этот организованный характер мира, явленный в том, что мы называем разумом. Если выразить эту мысль менее витиевато, релятивист способен удерживать в поле зрения две или более взаимоисключающие системы, внутри которых появляется один и тот же объект, переходя от одной системы к другой. Я уже указывал на опытную форму этого перехода, когда пассажир поезда переходит от системы движения своего поезда к системе движения соседнего поезда. Его поезд не может быть одновременно в движении и в покое, но разум пассажира в процессе перехода может занимать место в обеих системах и удерживать эти две установки в понятной связи друг с другом как представляющие одно и то же событие с двух разных точек зрения, которые он, обладая разумом или будучи разумом, может занять. Если он принимает как в равной мере легитимные две взаимоисключающие ситуации, то это потому, что он как разумный организм может пребывать в обеих.

Именно к такой организации перспектив могут относиться константы в математике относительности. Мы установим это кратко и без философских усложнений, сказав, что эта математика дает нам более точный метод формулировки и измерения физического мира; но при этом все еще остается видимое противоречие, заключенное в том, что объект обладает в одно и то же время разными пространственно-временными и энергетическими параметрами, тогда как только через них его и можно определить. Трудностей бы не было, если бы мы могли установить одно определение как правильное, а другие отнести к иллюзорным факторам; тогда мы просто сочли бы движущимся свой поезд.

То же самое мы делаем, когда говорим, что две системы — это всего лишь структура, которую объекты имеют при разных системах отсчета. Тогда иллюзорны обе. Но в этом случае мы должны свести реальность к миру Минковского. Я лично считаю, что обе они реальны для разума, который может занимать в переходе обе системы. Еще один пример, который я приводил, касается цен в экономическом мире; но я указал на то отличие, что здесь оба индивида в разных перспективах возвращаются к общей сущности цены в рамках обмена, которая в форме денег идентична для каждого, в то время как в системах, движущихся относительно друг друга, два индивида не могут найти в своем опыте таких общих реальностей. Вместо этого они получают набор формул преобразования. То, к чему они обращаются, Рассел называет общим логическим паттерном; я же утверждаю, что два индивида в системах, которые предлагает Эйнштейн, соединенных друг с другом световыми сигналами так, что каждый индивид помещает себя в систему другого, наряду со своей собственной, живут в общем мире и что обращаться к миру Минковского нет необходимости. Живя вместе в таких системах, индивиды вскоре постоянно несли бы с собой эти два определения всего, подобно тому, как мы носим с собой две системы времени, когда путешествуем. Что было бы невозможно, так это свести этот общий мир к мгновению. Временное измерение необходимо для существования социальности. Нельзя быть в одно мгновение в Чикаго и в Беркли, даже мысленно; но даже не будь под нами общей земли, которая может быть в одно мгновение одной и той же, мы могли бы мысленно удерживать в своем текущем настоящем общую жизнь. Я уцепился за этот пример, поскольку он представляет предельный случай организации перспектив, осуществляемой социальностью в обоих ее измерениях, когда они могут проявиться в мыслящих организмах.

Своей рефлексивной формой Я анонсирует себя как сознательный организм, являющийся тем, что он есть, лишь постольку, поскольку он может переходить из

своей системы в системы других и занимать в таких переходах одновременно свою систему и ту, в которую он переходит. То, что это происходит, явно не дело единичного организма. Запертый внутри своего мира, соответствующего его стимуляциям и реакциям, он не имел бы доступа к иным возможностям, кроме тех, которые предполагаются его собственным организованным актом. Такие возможности могут открыться ему лишь тогда, когда его деятельность есть часть более широкого организованного процесса. И это не единственная необходимая предпосылка. В социальной организации многоклеточной формы каждая клетка, живя своей жизнью, живет жизнью целого, но ее дифференциация ограничивает ее внешние выражения той единственной функцией, к которой она адаптировалась. Только в процессе, в котором один организм может в каком-то смысле заменить другой, индивид мог оказаться принимающим установку другого, продолжая в то же время занимать свою собственную. Его дифференциация никогда не должна быть настолько окончательной, чтобы он ограничился выполнением единственной функции. Предполагается, что именно высокая степень физиологической дифференциации у насекомых не позволяет достичь самосознания их высокоорганизованным сообществам.

Остается механизм, посредством которого индивид, живущий собственной жизнью в жизни группы, входит в установку принятия роли другого. Этим механизмом является, конечно же, коммуникация. Возможен тип коммуникации, при котором состояние одного органа стимулирует другие к соответствующим реакциям. В физиологической системе есть такая система коммуникации; ее осуществляют гормоны. Но это лишь усложнение той взаимосвязи высокодифференцированных органов, которая функционирует в общем жизненном процессе. Коммуникация в том смысле, в каком о ней буду говорить я, всегда предполагает передачу значения; это означает пробуждение в одном индивиде установки другого и его реакцию на

эти реакции. В результате индивид может стимулироваться к исполнению разных ролей в общем процессе, в который включены все, и, следовательно, может стоять перед разными будущими, которые эти разные роли с собой несут, на пути к той завершающей форме, которую примет его воля. Так жизнь сообщества, к которому он принадлежит, становится частью его опыта в более высоком смысле, чем это возможно для дифференцированного органа в органическом целом. Конечная ступень в развитии коммуникации достигается тогда, когда индивид, побуждаемый к принятию ролей других, обращается к самому себе в их ролях и приобретает, таким образом, механизм мышления, или внутреннего разговора. Генезис разума в человеческом обществе я здесь обсуждать не буду. Хотелось бы обратить внимание прежде всего на то, что это естественное развитие в мире живых организмов и их сред. Его первой характерной чертой является сознание — то эмерджентное, что возникает при переходе животного из системы, в которой оно ранее существовало, в среду, возникающую благодаря его избирательной восприимчивости, и, стало быть, в новую систему, в которой части его организма и его реакции на эти части становятся частями его среды. Следующий этап наступает с господством дистанционных чувств и отложенных реакций на них. Объектами в среде организма становятся отбор и организация этих реакций вместе с отобранными ими качествами объектов. Животное начинает реагировать на среду, которую образуют по большей части возможные будущие его отложенных реакций, и это неизбежно подчеркивает его прошлые реакции в форме приобретенных привычек. Они переходят в среду как условия его актов. Эти качества среды образуют материал, из которого позже, когда эти качества смогут быть вычленены в коммуникации через жесты, рождаются ценности и значения. Все системы, о которых я говорил, — это взаимосвязи между организмом и миром, который обнаруживает

себя как среда, детерминированная своей связью с организмом. Любое существенное изменение в организме несет с собой соответствующее изменение в среде.

Таким образом, переход из одной системы в другую — это повод к эмерджентному изменению как в форме, так и в среде. Развитие животной жизни неуклонно вело ко все большему включению деятельности животного в среде, на которую оно реагирует, — через развитие нервной системы, позволявшей ему реагировать на свои чувственные процессы и на свои реакции на них, — в его совокупную жизнедеятельность. Но животное так и не достигло бы цели стать для себя объектом как целое, если бы не вошло в более широкую систему, в которой могло играть разные роли и, принимая одну роль, стимулировать себя к проигрыванию другой роли, которой эта первая требовала. Именно это развитие и стало возможным благодаря обществу, чей жизненный процесс опосредован коммуникацией. Именно здесь возникает ментальная жизнь с ее постоянным переходом из одной системы в другую, занятием обеих систем в этом переходе и теми систематическими структурами, которые каждая из них подразумевает. Это царство непрерывной эмерджентности.

Я хотел представить разум как эволюцию в природе, в которой находит наивысшее развитие социальность, являющаяся принципом и формой эмерджентности. Чувственные качества в природе возникают благодаря тому, что орган может реагировать на природу в различных систематических установках и занимать при этом обе установки. Организм реагирует на себя как на того, на кого воздействует дерево, и в то же время на дерево как на поле своих возможных будущих реакций. Возможность пребывания организма сразу в трех разных системах — системе физической связи, системе жизненной связи и системе чувственной связи — обуславливает появление окрашенного шершавого ствола и листвы дерева, возникающих во взаимосвязи между объектом и организмом. Но разум в высшем

его смысле предполагает переход от одной установки к другой с последующим занятием обеих. Это происходит также и в природе. Это фаза изменения, в которой оба состояния обнаруживаются в самом процессе. Яркий пример этой ситуации — нарастание скорости, и все развитие нашей современной физической науки опиралось на выделение нами этой сущности в изменении. Но хотя это одновременное занятие разных ситуаций происходит в природе, разуму еще нужно было представить область, в которой организм бы не только переходил от одной установки к другой, занимая при этом обе, но и удерживал внимание на этой общей фазе. Переходить от ситуации, в которой явлена собака, к ситуации, в которой явлена жаба, а от нее к ситуации, в которой явлен слон, и быть во всех установках сразу возможно постольку, поскольку все они включают общую установку, направленную на «животное». Вот это и есть высшее выражение социальности, ибо организм не только переходит от одной установки к другой посредством фазы, являющейся частью всех этих установок, но и возвращается в этом процессе к себе и реагирует на эту фазу. Он должен выходить в переходе вон себя и реагировать на этот заключенный в переходе фактор.

Я уже показал, с помощью какого механизма это совершается. Этот механизм — общество организмов, которые становятся Я, принимая прежде всего установки других по отношению к себе, а затем пользуясь жестами, которыми они разговаривают с другими, для индикации себе того, что заслуживает интереса в их собственных установках. Не буду тратить время на обсуждение этой чарующей области ментального развития¹. Хочу только подчеркнуть, что появление разума — лишь кульминация той социальности, которая

¹ Ср.: р. 200 и далее. (Здесь редактор американского издания ссылается на несуществующие страницы; скорее всего имеются в виду последние страницы очерка «Генезис Я и социальный контроль». — *Примеч. пер.*)

обнаруживается во всем мироздании, и кульминация эта состоит в том, что организм, занимая установки других, может занять собственную установку в роли другого. Общество — это систематический порядок индивидов, в котором у каждого есть более или менее дифференцированная деятельность. Эта структура реально присутствует в природе, находим ли мы ее в обществе пчел или в обществе людей. И она в разных степенях отражается в каждом индивиде. Но, как я уже указал, она может проникать в отдельного индивида лишь постольку, поскольку он может, принимая собственную роль, принимать роли других. Благодаря структурной организации общества индивид, последовательно принимая роли других в некоторой организованной деятельности, начинает отбирать то, что является общим в их взаимосвязанных актах, и принимает тем самым то, что я назвал ролью генерализованного другого. Это организация общих установок, принимаемых всеми в их различных реакциях. Это может быть роль просто человека, гражданина некоторого сообщества, членов клуба или роль логика в его «универсуме дискурса». Человеческий организм становится рациональным существом, лишь обретая в своем поле социальной реакции такого организованного другого. Тогда он ведет тот разговор с собой, который мы называем мышлением, и мышление, в отличие от перцепции и воображения, занято индикацией того, что есть общего в переходе от одной установки к другой. Так мышление приходит к тому, что мы называем универсалиями, а они, соединяясь с индицирующими их символами, образуют идеи.

Все это возможно лишь в непрерывном переходе от установки к установке; а то, что мы не остаемся просто в этом переходе, обусловлено нашим возвращением к нему в роли Я и организацией выбираемых качеств в паттерны, которые дает нам в распоряжение эта социальная структура Я. Протяженность настоящего, в котором обнаруживает себя это самосознание, опре-

деляется конкретным социальным актом, в который мы вовлечены. Но обычно оно выходит за рамки непосредственного горизонта восприятия, и мы наполняем его воспоминаниями и воображением. В совокупном предприятии они служат заменой перцептуальных стимуляций в вызывании необходимых реакций. Если некто собирается встретиться с кем-то в условленном месте, он индицирует себе улицы, по которым должен пройти, пользуясь их памятливыми образами или звуковыми образами их названий. А это предполагает прошлое и будущее. Его настоящее вбирает в себя в каком-то смысле все предприятие, но может сделать это лишь с помощью символических образов, а поскольку предприятие есть целое, выходящее за пределы непосредственных мнимых настоящих, то они перетекают одно в другое без всяких разрывов. Громкий звук за спиной выхватывает такое мнимое настоящее. Его неважность для того, что происходит, оставляет его не более чем мгновением, когда этот звук дребезжал в наших ушах. Однако наши функциональные настоящие всегда шире, чем мнимое настоящее, и могут вбирать в себя длинные отрезки предприятия, которому уделяется непрерывное сосредоточенное внимание. У них есть отодвинутые на разную глубину идеационные границы, и в этих пределах мы непрерывно втянуты в проверяющий и организующий процесс мышления. Функциональные границы настоящего — это границы протекающего в нем дела, т.е. того, что мы делаем. Прошлые и будущие, индицируемые такой деятельностью, принадлежат настоящему. Они возникают из него и критикуются и проверяются им. Дела, однако, укладываются в более широкие деятельности с разной степенью плотности, и поэтому у нас редко возникает ощущение множества обособленных настоящих.

Я хотел бы максимально четко подчеркнуть соотнесенность прошлых и будущих с деятельностью, находящейся в центре настоящего. Идеация расширяет область, в которой происходит деятельность, в про-

странстве и во времени. Настоящие, в которых мы живем, снабжены границами, и вписывание их в более широкую независимую хронику есть опять же вопрос несколько более расширенного настоящего, которое требует более широкого горизонта. Но даже самый широкий горизонт относится к какому-то делу, и его прошлое и будущее соотносятся с ним. Так, нынешняя история Солнца релевантна делу разгадки атома, и при ином анализе атома у Солнца появится иная история, и мир будет запущен в новое будущее. Прошлые и будущие суть импликации того, что затевается и делается в наших лабораториях.

Любопытно отсутствие исторической значимости в описании мира у Аристотеля. Были, самое большее, ритмы воспроизводства или смены времен года. У прошлого не было иной функции, кроме повторения. Даже судный день Платона был повторяющимся делом. В высшей реальности — мысли, мыслящей саму себя, — прошлое и будущее совершенно испарялись, как в созерцании вневременной реальности на Платоновых небесах. Святой Павел и Августин объявили историю мира, давшую определенный космический горизонт делу каждой души в ее поиске спасения от гнева грядущего или искании видения райского блаженства. Библия и памятники церкви стали хроникой христианского мира; в них люди находили средства спасения. Только когда научные исследования стали независимым предприятием, открылась возможность заменить эту хронику другой. Смысл библейской истории состоял, однако, не только в спасении людских душ. Церковь была структурой западного общества, и дело охраны ценностей этого общества имело свои существенные прошлое и будущее в плане спасения. Именно это более крупное дело, которому мы как социальные существа привержены, задает сегодня горизонты наших прошлых и нашего будущего. Но это дело включает в число своих ценностей научно-исследовательский труд и импликации того рационального процесса, который

избавил нас от изолированности индивидуальных организмов и сделал не только членами Блаженного Сообщества, но и гражданами республики разумных существ. Даже в масштабе этих самых универсальных дел, однако, их прошлые и будущие все же соотносятся с интересами, заключенными в самих этих делах. Мы определяем чем мир до сих пор был, неустанным поиском средств его улучшения, и вместо града нерукотворного вечного на небесах мы ставим себе целью достижение общества, которое сознает свои ценности и разумно настроено на то, чтобы им следовать.

Этот взгляд, стало быть, избавляет нас от рабской зависимости и от прошлого, и от будущего. Мы не являемся ни порождениями необходимости неотменяемого прошлого, ни продуктами видения, явившегося нам в Нагорной проповеди. Наша история и наши предвидения будут соответствовать по духу тем делам, в которых мы живем, движемся и имеем свое бытие. Наши ценности заключены в настоящем, а прошлое и будущее дают нам только опись средств и графики для их осуществления.

Мы всегда живем в настоящем; его прошлое и будущее суть расширение области, в которой могут совершаться его дела. Это настоящее есть сцена эмерджентности, дающей все время новое небо и новую землю, а его социальность — сама структура наших разумов. Поскольку общество оснастило нас самосознанием, мы можем персонально включаться в величайшие дела, развертываемые перед нами общением разумных Я. И коль скоро мы можем жить с собой так же, как и с другими, мы можем критиковать самих себя и делать ценности, в которые мы вовлекаемся через те дела, в которых участвует сообщество всех разумных существ, своими собственными ценностями.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОЧЕРКИ

I. Эмпирический реализм

Любому акту познания свойственны два момента: дедукция того, что должно произойти в опыте, если принятая нами идея окажется истинной, и реконструкция мира, которую подразумевает принятие этой идеи. Так, в теории относительности иллюстрацией первого является расчет видимых положений звезд вблизи Солнца при полном солнечном затмении и согласие расчетов этой теории с вращением перигелия орбиты Меркурия. Примерами второго служат теория искривленного пространства-времени Эйнштейна и доктрина пересекающихся временных систем Уайтхеда. Если не брать ошибки наблюдения, то так называемые экспериментальные подтверждения сохраняются как данные при любой альтернативной теории, в то время как реконструированный мир, возникающий из теории, никогда не бывает сам по себе окончательным. Новая теория будет реконструировать его так же, как его реконструировала ее предшественница.

Интересно заметить, что указанное различие в дефинитивной ценности данных и теорий, с помощью которых эти данные организуются и из которых они получают новое значение, не обусловлено высокой компетентностью в их добывании. Чем компетентнее данные обособляются и наблюдаются, тем вероятнее, что они останутся надежными элементами в формулировании и решении позднейших проблем; но логическое совершенство теории и ее широкая применимость никак не влияют на вероятность ее выживания перед лицом новых проблем. Об этом ясно свидетельствует установка сегодняшних физиков по отношению к Ньютоновой механике. На самом деле сами совершенство и полнота гипотезы ослабляют ее выживаемость перед лицом фундаментальных проблем. В распоряжении ученых оказывается постоянно растущий корпус надежных данных, а сам характер их

исследовательских предприятий требует постоянной реинтерпретации мира, внутри которого продолжается исследование.

Как это сказывается на реализме ученого, на его уверенности в том, что *вот здесь* есть умопостигаемый мир, противостоящий его исследованию? Такой феноменалист, как Мах, находит свою реальность в данных, и готов — или должен быть готов — опознать в них новые единообразия, не чувствуя, что его поле реальности изменилось. Он может считать вещи и составленный из вещей мир просто удобными и субъективными упорядочениями данных, которые могут быть переупорядочены без воздействия на ту единственную реальность, которая интересует науку. Но наши конструктивные ученые не феноменалисты. Эйнштейн осуждает феноменализм¹, да и среди таких теоретиков, как Эддингтон, Вейль, Минковский или Уайтхед, мы не находим ни одного феноменалиста. Такие технические специалисты, как Резерфорд, Бор, Зоммерфельд, Планк или Шрёдер, могут устанавливать свои открытия только в терминах вещей и мира вещей, как бы далеко они ни отстояли от перцептуального опыта.

Данные — это выделенные элементы в мире вещей. Их обособленность преодолевается в новом мире гипотезы ученого, и именно в этом мире лежит реальность, которую он ищет. В своем познавательном поиске он не может остановиться на данных. Они относятся к стадии исследования, приходящей раньше достижения знания. Как бы ни был он неуверен в этом достижении, его импульс не удовлетворяется до тех пор, пока данные не примут форму вещей, включенных в некое упорядоченное целое. Эти вещи могут быть отдалены от нашего перцептуального опыта и располагаться в математической или логической интуиции, свойствен-

¹ См.: *Meyerson E. La déduction relativiste. P.: Payot, 1925. P. 61–62.*

ной только эксперту; но именно миру, состоящему из объектов, а не из данных, его гипотеза дает по крайней мере предварительную реальность, не присоединяющуюся к ним как к простым данным.

Другая черта реальности ученого — ее независимость от наблюдателя. В доктрине относительности яркой иллюстрацией этого является геометрия пространства-времени. Абсолют, независимый от систем координат всех наблюдателей, был неизбежной целью наиболее фундаментальной критики обыденного пространственного и временного опыта. Как бы ни был ученый готов признать перспективность любого восприятия, он никогда не заражался теми скептицизмами, которые вырастали из такого признания в философской доктрине. Он сознавал гораздо лучше обывателя непреодолимые преграды, защищающие познаваемый мир от сколько-нибудь полного постижения его наукой; но он никогда не низводил объект своего познания до порождений собственного восприятия и мышления. Он всегда допускал существование чего-то независимого от его восприятия и мышления, коим было занято его исследование. Именно эту независимость подчеркивает его эксперимент. Но эта реальность, независимая от восприятия и мышления наблюдателя, не представлена в данных науки отдельно от мира, к которому такие данные относятся. Эти данные суть перцептуальные переживания, обособляемые той проблемой, в рамках которой они появляются, и проявляющиеся при столь требовательных условиях, что можно положиться на их повторение не только в собственном опыте ученого, но и при схожих условиях в опыте других. Ни в коем случае нельзя отождествлять эту независимую реальность с более точным измерением точек на фотографической пластине или с наблюдениями астронома, поскольку те находятся в противоречии с текущей доктриной. Именно последние и конституируют данные науки. Независимая реальность принадлежит либо миру, не

подвергшемуся воздействию проблемы, либо миру реконструированному. Наблюдения — это индикации необходимости реконституции и свидетельства правомерности гипотезы, благодаря которой такая реконституция предпринимается; но в форме данных они не могут принадлежать реконституированному миру. Такой мир есть система умопостигаемых вещей, значения которых стерли обособленность данных и, возможно, устранили их влияние из перцептуального опыта, внутри которого они проявились.

Итак, мы возвращаемся к умопостигаемой реальности, являющейся основополагающим допущением в деятельности ученого. Я уже указывал на значение умопостигаемости реальности для поиска ученым знания. Оно кроется в возможности выведения из определяющих условий событий, как они даны в опыте, того, какова должна быть природа этих событий. В такой умопостигаемости заложены, следовательно, два допущения: 1) что события детерминированы в своем протекании, хотя степень этой детерминации не фиксируется этим допущением; и 2) что в той мере, в какой определяющие условия заданы, задан и характер последующих событий. Вместе с тем есть разница между данностью определяющих условий и данностью позднейших событий. Первая — это данность временного измерения опыта. Но хотя во всем протекании (*passage*) есть детерминация — или, выражаясь абстрактно, перенесение связей, — в том, что происходит, есть также и неопределенность. Наряду с тождеством связи на всем протяжении протекания, в протекании всегда есть и качественное различие. «Что» происходящего дано только в этом аспекте связи. Здесь заключены рациональность всего опыта и источник символизма. И именно здесь мы находим фундаментальное различие между объективной и субъективной фазами опыта. Перенесение связей объективно. Предвосхищаемое качественное «что», которое произойдет, — субъективно. Его локус нахо-

дится в разуме. Здесь мы находим второй род данности — тот, который принадлежит будущим событиям. Поскольку связи в протекании, или переходе, присутствуют в опыте, они переходят в своей идентичности в последующие события, но «что», которое произойдет, присутствует в опыте лишь символически. И это неопределенное «что» всегда заключает в себе возможность новой ситуации с новым комплексом связей. Следовательно, данность позднейших событий есть расширение (*extension*) структуры связей, находимой в опыте, в котором событие может быть определено только в его реляционной сути, хотя мы и можем в воображении предвосхитить с разной степенью вероятности его качественный характер. Умопостигаемость мира обнаруживается в этой структуре связей, присутствующих в опыте, и в возможности прочертить их за пределы мнимого настоящего в будущее, насколько это будущее детерминировано. Данные — это такие эмерджентные события, которые не укладываются в принятую структуру связей, становясь опорными точками, из которых возникает новая структура связей. Они, стало быть, обособлены, хотя и находятся внутри мира, который не был целиком разрушен. Именно в своей изоляции они интересны; и хотя определены они в терминах не затрагиваемых объективных связей, представлены они должны быть именно в противоположность прежде принятым значениям. Релятум, который висит в воздухе еще без структуры связей, к которой он относится, дан в таком типе опыта, который может воплощать как его неотъемлемость от личного мира, так и его противоречие некоторым качествам этого мира². Открытия Майкельсона — Морли служат примером этого типа опыта. Кольца интерференции были неизменными независимо от того, шли

² Подробнее см.: *Mead G. Scientific Method and the Individual Thinker // Creative Intelligence Essays in the Pragmatic Attitude / ed. by J. Dewey et al. N.Y.: Henry Holt and Co., 1917. P. 176-227.*

световые волны вместе с движением Земли или под прямым углом к ней. Движения просто были в мире точного измерения, служащем условием любого эксперимента. Но они явно противоречили допущению, что эти волны распространяются в эфире, не затронутым этим движением, занимая Ньютоново пространство текущей физической доктрины. Неоспариваемая наличность (thereness) этих колец в их неожиданном конфликте с характером пространственного мира, к которому они относились, выражает независимость данных от некоторых свойств этого опыта, поскольку те не согласуются с этими открытиями.

Имеется давний спор между рационализмом и эмпиризмом, который не удастся разрешить до тех пор, пока каждая из сторон претендует на полный рассказ о реальности. Невозможно и поделить этот рассказ между ними. Когда историю рассказывает рационализм, все стремится к Парменидову тождеству; когда за дело принимается эмпиризм, реальность растворяется в феноменалистических песках. На самом деле контингентность предполагает универсальный необходимый порядок, который был нарушен, и мы доходим до всеобщего закона лишь тогда, когда одерживаем верх над исключениями. Эмпиризм преподносит нам вечно повторяющуюся проблему своим прочным упрямым фактом, а рационализм — верифицированную теорию, в которой он исчезает. Например, интерпретация вещей как событий ведет к исчезновению «вещей» в геометрии пространства-времени, являющейся современным изданием рационализма Декарта. Ни пространство-время Минковского, ни пересечение бесконечного числа временных систем с вторжением вечных объектов у Уайтхеда не допускают никакой реальности в перцептуальных открытиях исследовательской науки. Для исследовательской науки перцептуальные открытия — часть мира, неоспоримая надежность которого служит основой для реальности исключительного случая, из которого

вытекает проблема, и для достоверности экспериментальной верификации последующей гипотезы; между тем они потеряли значение, принадлежавшее этому миру, но аннулированное теперь исключительным случаем. Мир был имплицитно рациональным до появления проблемы. Он вновь становится рациональным, как только проблема решена. Голые факты исключительного случая в наблюдении и эксперименте имеют реальность, независимую от этой рациональности. Сказать, что их реальность обнаруживается в вере в то, что мир все-таки рационален, значит заменить непосредственную данность, утверждающуюся в противовес рациональному порядку и предположительно могущую удержаться даже в иррациональном мироздании, эмоциональным состоянием. Для метода и установки ученого существенно, что он принимает свои открытия именно в их противоречии тому, каким было их значение, и как реальные независимо от любой теории, выдвигаемой для их объяснения. Иначе они не имели бы доказательной силы. Такие случаи вместе с заключенными в них проблемами конституируют контингентность мира ученого. Они по самой природе своей непредсказуемы, и они по самой сути своей реальны, несмотря на их нерациональность. Верно и то, что каждая непротиворечивая гипотеза отменяет все позднейшие исключения из своего единообразия или, скорее, будет разрушена любым исключительным случаем. Следовательно, то, что геометрия пространства-времени не допускает контингентного, не является доводом против нее. Никакая формально рациональная доктрина не может включать отрицающий ее факт. Но совсем другое дело — давать описание реальности, в котором нет места для авторитета новых научных открытий. Ученый, приветствующий факты, не согласующиеся с его теорией, должен иметь в своей доктрине место для опыта, в рамках которого эти факты могут появиться. Также мы не можем объяснить противоречащий теории факт, или эмерджентное, отнеся его

к опыту, являющемуся просто опытом разума, допустившего ошибку или пребывавшего в заблуждении и теперь исправляющего ее с помощью истинного или, по крайней мере, более истинного описания реальности. Противоречащий теории факт, несомненно, эмерджентен; однако обычно его сущностную новизну помещали в ментальный опыт, отказывая в ней миру, который разум переживает в опыте. Так, излучение абсолютно черных тел принесло факты, противоречащие формулировке света в терминах волнового процесса. Предполагается, что будет найдена гипотеза, в которой это противоречие исчезнет. Меж тем мы не ставим под вопрос факты, если они проверены с помощью одобренной техники. Это возвращает нас к показаниям приборов; мы склонны не замечать того, что показания приборов предполагают очень сложный и обширный аппарат вкуче с физическим размещением этого аппарата — всем перцептуальным миром, не подразумеваемым в доктрине излучения, — и что факты всего лишь части этого перцептуального мира. В этом мире показания приборов эмерджентны. С точки зрения ученого, этот мир не ментален. Ментально ли возникновение квантов? Эйнштейнианец должен ответить на этот вопрос утвердительно. В геометрии протяженности, в которой время — всего лишь одно из измерений, не может быть никакой новизны. В наших разных системах координат мы натываемся на события, и вся свежесть новизны находится в путешественнике. Уайтхед располагает перспективу организма в мире, с которым имеет дело ученый, и пытается допустить в него контингентность с помощью альтернативных паттернов вечных объектов, которые могут вторгаться в эту перспективу, или особых пересечений временных систем, зависящих от воспринимающего события. Но это логическое отделение события — или собственно происшествия — от характеристик события — того «что это», которое имеет место, — не находит отражения в объекте ученого. «Что» объекта

отражает его свойства в его событийном проявлении. Если и есть контингентность в отборе вечных объектов, то эта контингентность, несомненно, проявляется в случающемся. Не только этимологически, но и логически контингентность присоединяется к событию, происшествию. Тем не менее с точки зрения доктрины Уайтхеда событие неизменно размещено в пространстве-времени — так же, как и в доктрине Эйнштейна.

Эмерджентное ученого предстает в его наблюдении противоречащего факта. Несомненно, в его опыте произошло что-то новое, а его опыт лежит в мире. Тогда он заинтересовывается установлением как факта того, что новое в его опыте также прочно укоренено в несомненном перцептуальном мире. Поскольку оно ново — например, поскольку излучение абсолютно черного тела не согласуется с волновой теорией излучения, — новый факт существует только как его экспериментальное открытие, его перцептуальный опыт, и он должен убедиться, что у кого угодно при схожих обстоятельствах будет тот же перцептуальный опыт. Реальность этого его опыта, как и опыта других, проводящих схожий эксперимент, в противоположность текущим значениям, — краеугольный камень экспериментальной науки. Новый факт — не просто ощущение ученого, не некое ментальное состояние, а что-то происходящее с вещами, которые реальны. В своем противоречии некоторому структурному свойству этого мира он возникает только в опыте этого, того и другого индивида; но эти опыты должны тем не менее принадлежать неоспоримому объективному миру. Важно сознавать, что не этот мир складывается из этих индивидуальных опытов, а они лежат внутри этого мира. Если бы он состоял из таких индивидуальных опытов, то он потерял бы всю свою реальность, тогда как на самом деле это суд высшей инстанции: нет ни одной научной теории, которая не искала бы его решения, и нет ни одной теории, которая могла бы его

избежать. Вполне представимо, что могут появиться факты, противоречащие нынешней доктрине относительности, и исследовательской наукой предусматривается, что так оно и будет.

Обычно независимость данных истолковывается как метафизическое подтверждение реального мира, не зависящего от всякого наблюдения и размышления. Из методологии ученого это с необходимостью не вытекает. Ведь метафизически подтверждается конечная реальность, в то время как процедура и метод ученого не усматривают никакой такой окончательности. Напротив, они предусматривают непрерывную реконструкцию перед лицом событий, возникающих в непрекращающейся новизне. Метод и техника ученого — исследовательские. Пока его метафизическая склонность не заставляет его идентифицировать бесспорную наличность (*thereness*) данных с конечностью мира, метафизически независимого от всякого опыта, он не может открыть в данных эту окончательность; ведь сама их форма движется к доктрине, избавляющей их от характера данных и сливающей их в вещах. Только в тождестве связи в протекании он может найти характер, могущий принадлежать такому конечному миру. Но, как отмечал Мейерсон³, такое отражение реальности в тождествах, которые ищет научный метод, ведет только к Парменидову твердому телу.

Конечно, можно подойти к проблеме с точки зрения этой реляционной структуры. Современная математика и реляционная логика — яркие примеры этого подхода. Первый шаг был сделан в эпоху Возрождения, и это было освобождение числовых соотношений геометрических элементов от форм перцептуальной интуиции. Аналитическая геометрия Декарта не только открыла ворота могущественному инструменту анализа, но и освободила качественное содержание объекта наблюдения от обыденной структуры вещей.

³ *Meyerson E. Identity and Reality... P. 231.*

Научный анализ был теперь свободен подойти к проблемам физики и химии с инструментами молекул и атомов, которые могли быть определены через механические уравнения. Обоснование гипотетических конструкций, ставших возможными благодаря этому, можно было отыскать в логических выводах из теории, когда они подвергались экспериментальной проверке. Именно математический анализ освободил современный ум от метафизики Аристотеля, дав людям новые объекты, которые были точно определены в терминах реляционных структур, а затем подвергая эти структуры проверке в наблюдении через дедукцию их последствий. Глубокое различие между атомами древних и атомами современной мысли состоит в том точном определении современной наукой своих конечных элементов через математическое описание соотношений, которым они должны соответствовать, и изменений, которые они должны претерпевать. Аристотелева наука могла не давать никакого определения вещей, разве что природы вещей, как они явлены в опыте. В распоряжении мыслителя не было никакого метода, кроме метода метафизики возможности и осуществления. Элементы могли мыслиться только в терминах того, чем они должны были стать. В атоме Демокрита вес был конечным качеством, которое мыслилось как причина движения и изменений в движении; но причина не имела ничего общего со следствием. Невозможно было использовать разложение движения на скорости, ускорения и замедления, а затем определить вес — главное свойство атома — в терминах этих определенных элементов движения. Вес был одним свойством, а изменения, им вызываемые, — другими свойствами. Одно нельзя было определить через другое.

Но когда массу смогли определить через инерцию, а инерцию — через тенденцию тела оставаться в состоянии покоя или движения или через характер движения, в котором оно находится, стало возможным использовать математическое описание движе-

ния для определения как тела, так и любой его части, которую этот анализ сделал доступной для мысли и эксперимента. Здесь не просто возник новый набор понятий для определения вещей, но сама ситуация, возникающая из математического анализа, заключала в себе реляционные формулировки объектов. Как неадекватность картезианской механической доктрины, так и удивительный успех ньютоновской механики подчеркивали важность новых физических объектов, которые возникли из математической динамики. Их безразличие к телеологическим природам вещей в человеческом опыте сделало их особенно пригодными для придания формы средствам достижения новых человеческих целей. Механика Ньютона дала человеку контроль над природой из источника, о котором Бэкон даже не мечтал.

Таким же, если не более важным, было экспериментальное доказательство, которое дала ученому точная дедукция следствий из математически сформулированной гипотезы. Здесь был *mathesis*, который вместо бегства в платоновский мир форм вернулся к перцептуальному миру, поддающемуся точному измерению, и нашел в нем окончательную опору. Развитие математической теории снова и снова давало структуру, в которой можно было определять новые объекты. Размышления Эйнштейна о связях движения с измерением и его единицами предвосхищают осознание им того, что открытия Майкельсона и Морли и преобразования Лоренца дали данные для доктрины относительности. Кванты, в свою очередь, представляют перцептуальные открытия, определенные в терминах текущей теории, но при этом входящие с ней в противоречие. Подойти к этой проблеме можно с обеих сторон: и со стороны особого опыта, оспаривающего теорию, и со стороны развитой реляционной теории, дающей новые объекты научному исследованию.

Итак, если спросить, какова логическая или познавательная ценность реализма ученого, то мы получим

два разных ответа. Один исходит из его установки на поиск решения проблем, которыми занято его исследование. Другой предстает в его метафизической интерпретации этой установки. В первом случае оказывается, что допущение ученым независимости мира, в котором находятся научные данные и объекты, которые проверяемая теория обнаруживает в противовес наблюдению и размышлению ученого, всегда реферирует к миру постольку, поскольку этот мир не втянут в занимающую ученого проблему и поскольку он раскрывается в научно компетентных, неоспариваемых и проверяемых наблюдениях и гипотезах. Принятие ученым реального мира, не зависящего от его познавательных процессов, вовсе не базируется на окончательности открытий науки, будь то в ее данных или в ее логически согласованных и экспериментально проверенных теориях. Хотя данные науки, когда они строго удостоверены, живут в истории науки гораздо дольше, чем ее теории, они всегда могут быть пересмотрены. Это понятное отсутствие окончательности не влияет, однако, на независимость данных от наблюдения и мышления в поле исследования. Мир, которому принадлежат данные, не зависит от восприятия и мышления, не сумевших их опознать, и всякая мыслимая ревизия этих данных будет просто находить себя в другом мире научных открытий. У ученого нет способа представить непостоянство своих данных иначе, нежели в терминах улучшенной техники; и то же самое касается объектов, в которых данные исчезают, когда теория оказывается проверенной и принятой. Они независимы лишь от восприятия и мышления мира, глаза которого были до сих пор к ним слепы.

Сложные и хорошо проработанные релятивистские теории несут с собой логическую окончательность любой непротиворечивой дедукции; но их окончательность в истории науки зависит, во-первых, от компетентной формулировки ими независимой реальности и, во-вторых, от их успеха в предсказании дальнейших

событий. И сам ученый ожидает, что эта доктрина будет реконструироваться так же, как реконструировались другие научные доктрины. Он уверен, что любая последующая теория будет вбирать в свою реляционную структуру данные современной науки, поскольку они проходят проверку повторением и улучшенной техникой, и логическую структуру современных теорий, поскольку относительность впитала в себя логическую структуру классической механики; вместе с тем ни его установка ученого-исследователя, ни его метод не предусматривают окончательности доктрины. Что требуется здесь подчеркнуть, так это то, что независимая реальность не несет с собой импликации окончательности.

Мы увидели, что независимая реальность, являющаяся существенной частью аппарата ученого, раскрывается в двух точках. Во-первых, в научных данных это удостоверенный опыт, идущий вразрез с интерпретациями и значениями, до сих пор занимавшими свое место в мире, в котором мы жили: примером служат отражения излучений абсолютно черных тел в квантовой проблеме. Или это новый реляционно определенный объект, так называемый «концептуальный» объект, поскольку можно привести экспериментальные свидетельства в пользу его существования: например, электрон, как о нем свидетельствует эксперимент Милликена с капельками масла, или α -частица в фотографиях Резерфорда. Здесь реальность актуально присутствует, твердо стоя на своих ногах вопреки принятым значениям и учениям, которые ей противоречат. Во-вторых, это реальность новой теории, обоснованная неоспоримыми логическими импликациями и подкрепленная наблюдениями и экспериментами, которые исполняют ее пророчества. Таким образом, своим острием обсуждаемая независимость всегда направлена на объекты или идеи, принадлежащие тому опыту, внутри которого появились научные данные или новая теория.

В перспективах повседневного перцептуального опыта мы прямо или с помощью умозаключения наделяем отдаленный объект — преимущественно визуальный — параметрами, которые он принимает или примет в поле общего дистанционного и контактного опыта. «Реальность» визуального объекта — это то, что можешь увидеть сам при обращении с ним. Визуальная структура главенствует, и даже контактные ценности упорядочиваются в визуальном пространстве; но визуальное пространство непосредственной близости к индивиду, в котором исчезли перцептуальные перспективы, располагается в единообразной пространственной структуре, совпадающей с более широкой структурой контактного опыта. Контактный опыт есть «материя» здравого смысла; такова задача, выполняемая этим опосредующим опытом, в котором находятся все физические объекты, предшествующие консуммациям внутри физиологического акта и служащие организмам, способным к манипуляции, средствами для финальных консуммаций. Пространственная структура при этом остается визуальной, ввиду превосходящей ясности и точности зрения. Весь дистанционный визуальный опыт символичен, в берклианском смысле, но символичен не в отношении чисто контактных параметров, а в отношении тех точных параметров, которые упорядочены в визуальном пространстве нашего радиуса манипуляции. Конечная перцептуальная реальность, между тем, всегда предполагает действительный или возможный манипуляторный контакт, т.е. предполагает материю.

Поведение индивидуального организма необязательно предполагает что-то большее, нежели успешную организацию отдаленных стимулов в манипуляторные реакции под контролем поля зрения. То есть подходящее поведение по отношению к отдаленному объекту может происходить и без появления физических объектов в опыте организма. Ведь физический объект в опыте — это не просто пространственно уда-

ленный стимул, на который мы реагируем. Это вещь, которая действует или может действовать на нас. Этот опыт взаимодействия мы, несомненно, имеем первоначально в давлениях, локализованных в вещах, которые мы осязаем и которыми манипулируем. Условие этого опыта можно найти в давлении рук или иных частей тела друг на друга; но действие вещи на нас из ее нутра — фундаментальное свойство, которое мы не можем подобным образом объяснить.

Только что сказанное имеет два разных возможных контекста: контекст эпистемологической проблемы и контекст развития незрелого опыта младенца в опыт сообщества, к которому он принадлежит. Эпистемолог полагал, что всякий перцептуальный опыт заключает в себе осознание, т.е. несет в себе когнитивную референцию к чему-то, что им не является, и что его задача — попытаться идентифицировать эту когнитивную референцию к миру, лежащему вне опыта индивида, с когницией индивида, достигающей своей цели внутри опыта. Следовательно, эпистемолог отталкивается от непосредственного опыта индивида и пытается с помощью этой когнитивной референции добраться до мира, находящегося вне индивидуального опыта. Биолог и генетический психолог, в свою очередь, отталкиваются от мира, в который индивид входит, и пытаются показать, как этот мир формирует опыт индивида и как индивид переформирует его. Ученый, конечно, работает в установке биолога и психолога. В своем исследовании он должен начинать с проблемы, находящейся в неоспоримом мире наблюдения и эксперимента. Его проблема ставит под сомнение некоторые черты этого мира, но научные данные устанавливаются в том, что остается непоколебленным. В той мере, в какой перцептуальный опыт индивида неадекватен — лишен объективности, — должно быть возможным вычленив из него то, что не ставится под вопрос и может быть проверено путем компетентного наблюдения и эксперимента. Эти наб-

людение и эксперимент предполагают перцептуальный мир, не лежащий внутри проблематичной области. Для ученого проблема познания не возникает до тех пор, пока не появится исключение или пока логическое развитие структуры мира не принесет с собой новые объекты, требующие реконструкции.

Но хотя ученый должен наблюдать, измерять и экспериментировать в перцептуальном мире, новейшие гипотезы, поддержанные и подтвержденные экспериментальными проверками, привели к построению научных объектов, вторгшихся в поле перцептуального объекта и, видимо, сделавших из тех объектов, в отношении и среди которых осуществляются самые точные его измерения, проблему, которой его научная доктрина не может пренебречь.

В соответствии с доктриной классической механики, перцептуальные переживания веса и усилия прямо соотносились с массой и силой. И они были континуумами, которые действительно или в воображении могли до бесконечности подразделяться. От визуально-тактильного пространства того, что я назвал манипуляторной областью, могли быть абстрагированы «здесь» и «там», «право» и «лево», «верх» и «низ» перцептуального пространства, и при этом оставался непрерывный медиум, системы координат которого поддавались произвольному изменению положения, которое не затрагивало достоверности законов механики, применяемых к системам соотнесенных с разными координатами тел. Абсолютное пространство Ньютона не несло с собой никаких несуразностей, когда физик осуществлял свои наблюдения и эксперименты в своем перцептуальном мире. Его собственная система координат могла быть заменена любой другой, и это никак не сказывалось на ценности его выводов. Воображение, стало быть, продолжало до бесконечности то, что микроскоп осуществлял в своем ограниченном масштабе. Оно презентировало то, что лежит за пределами круга восприятия, как перцептуальное,

не подразумевая, что презентруемое — это что-то иное, нежели фрагмент того, что является перцептуальным. Физики могли выстраивать модели из своих гипотез, и это была всего лишь более совершенная анатомия перцептуального мира.

Между тем с теориями электромагнетизма пришел анализ, принесший элементы, которые больше не могли быть фрагментами воспринимаемых вещей. Лорд Кельвин пытался за них удержаться и утверждал, что не может понять гипотезу, которую он не может представить в виде модели. Однако отсутствие инвариантности в уравнениях Максвелла, преобразования Лармора — Лоренца, благодаря которым было преодолено это затруднение, и Эйнштейнова интерпретация преобразований Лоренца оставили позади саму структуру перцепта. Перцептуальная вещь сепарирует пространство и время. Она есть то, что она есть, *вопреки* (*contra*) времени. И коли она подвержена распаду во времени, то функция науки — вернуться к тем постоянным элементам, которые сохраняются. Нерушимые атомы Ньютона обладали содержаниями массы, irrelevantными времени. В перцептуальном мире физические вещи являются неперменными условиями событий. В электромагнитном мире события являются конечными элементами физических вещей, ибо время стало существенной характеристикой их содержаний. Скорости определяют массу и размеры. Итогом, как мы уже увидели, является пространство-время, в котором события геометрически расчерчены и которое должно в своих геометрических конфигурациях поглотить не только инерциальную и гравитационную энергию, но и энергию электромагнетизма, если довести до логического завершения программу, представленную Эйнштейном после его первоначального успеха в работе с гравитацией.

Итак, ученый пребывает в перцептуальном мире, внутри которого он может проводить тщательно продуманные наблюдения и рафинированные эксперимен-

ты, и реальность этого мира перед лицом проблемы, занимающей его внимание, он не оспаривает. Что он ставит под вопрос, так это объекты этого мира, внутри которых обнаружались противоречия, или расхождения. Абстрагирование от этих спорных характеристик оставляет его все еще с перцептуальными объектами, конституирующими его научные данные; более того, с их помощью будет проверяться любая гипотеза, какую бы он ни выдвинул в качестве решения своей проблемы. Именно научное данное в мире, которому оно принадлежит, конституирует для него независимую реальность, т.е. реальность, не зависящую ни от каких гипотез. Поскольку он признает, что проблема в опыте может обнаружиться где угодно, о таких данных можно говорить как о независимых от любого объекта или структуры объектов; но такая проблема должна возникать в мире, который будет презентировать собственные неоспоримые научные данные. Иначе говоря, ученый никогда не подходит к миру в целом. Чтобы эпистемологическая проблема могла стать его проблемой, он должен перестать быть ученым-исследователем и стать философом.

В области классической механики абстрагированные им пространство и время могли быть представлены в воображении как бесконечно делимые. Они были континуумами, фрагменты которых образовывали целостности этого абстрагированного перцептуального пространства и времени. Кроме того, в перцептуальном опыте проявлялись не только объемы, которые были континуумами, поддающимися таким подразделениям, но также содержания давления и сопротивления, которые тоже были континуумами, пригодными к таким подразделениям, соотносясь с физическим понятием массы как количества материи и как инерции. Эти контактные переживания занимают решающее место в восприятии, презентуя в манипуляторной области то, что символизируется в дистанционном опыте. Они образуют «материю» физического объ-

екта, обещанного нашими дистанционными переживаниями. Объекты, наблюдаемые ученым, и аппарат, которым он пользуется и с помощью которого производит свои самые точные измерения, подлежат этой проверке перцептуальной реальностью. Контактный опыт должен соответствовать визуальному опыту, если объекты и их мир есть. Тесная корреляция массы и движения с материей перцептуального опыта и такая же тесная корреляция континуумов пространства и времени физической науки с континуумами, абстрагированными от перцептуального опыта, давали возможность без препон и несуразностей представлять научные объекты классической механики в перцептуальном поле научных данных ученого.

Я уже говорил о колоссальной революции в понимании физического объекта, которую принесли теории электромагнетизма и относительности. Перцептуальный объект должен быть в наличии (*there*), чтобы длиться. Он не может быть событием. События в перцептуальном мире предполагают физические вещи, имеющие местоположения, и материальные содержания, иррелевантные времени. В структуре перцептуального мира пространство и время неизбежно разделены. Мир пространства-времени, наполняющийся событиями, больше не совпадает с перцептуальным миром, и единственной корреляцией между ними остается корреляция логических паттернов. Мир экспериментальных открытий ученого не может принадлежать тому миру, к которому они отсылают.

И есть еще одна революционная сторона в этой наисовременнейшей физической теории. В то время как весь наш дистанционный опыт — а это преимущественно мир зрения — указывает на реальность контакта, пусть и размещенную и упорядоченную в структуре, в которой глаз и рука взаимно контролируют друг друга, универсум относительности всецело визуален, сформирован механизмом световых сигналов. Эти сигналы, непосредственно направленные на

физические вещи, отражаются от одного согласованного множества (*consistent set*) на другое, так что их реальность никогда не обнаруживается в какой-либо движущейся или покоящейся вещи, а обнаруживается скорее в формулах преобразования, с помощью которых одна дистанционная структура может быть переведена в другую; в то время как конечное пространство-время, к которому они относятся, есть текстура, так схваченная в своем искривлении, что эти дистанционные символы могут символизировать лишь логику символизации. Дело обстоит так, как если бы использовалась возможность формулировки любого набора значений в терминах любого другого набора значений для сведения всех значений к механизму преобразования. Материя, переносимая в дистанционный опыт, становится всего лишь искривлением пространства-времени.

Я уже касался того свойства физической вещи, которое проявляется в ее воздействии на нас и на другие физические вещи изнутри нее самой, из ее нутра. Это свойство не фигурирует в описании физических вещей у ученого. Его формулировка инерции как тенденции тела оставаться в том состоянии покоя или движения, в котором оно находится, и силы как того, что служит причиной такого состояния, всегда дается в терминах скоростей, ускорений, замедлений и их соотношений друг с другом. Она никогда не имеет дела с внутренностью тела, а лишь с наружностью, которую анализ тела выявляет.

Само собой разумеется, что вещи, вовлеченные в наблюдение ученого, и аппарат его лаборатории и эксперимента не являются частью неявного поля его проблемы и имеют реальность, независимую от решения проблемы. Иначе проблема никогда не могла бы быть решена. Например, актуальные наблюдения положений звезд около Солнца на негативах во время полного солнечного затмения и аппарат, с помощью которого эти положения были с высокой степенью

точности измерены, несомненно, обладали для ученого реальностью, на которую он опирался при оценке гипотезы Эйнштейна. Его конечная реальность обнаруживается в этих тщательно спланированных наблюдениях и экспериментах, и присутствующие в ней вещи не подлежат сомнению, по крайней мере до тех пор, пока не возникнет новая проблема, могущая затронуть эти самые вещи и переживание их ученым. Но тогда он подходит к новой проблеме с набором столь же тщательно продуманных наблюдений и экспериментов, и теми бесспорными вещами, которые ими подразумеваются.

Верно также и то, что с другой стороны его предприятая, когда он убедился в жизнеспособности своей гипотезы и, возможно, сформулировал ее с окончательностью геометрии пространства-времени Минковского, этой окончательности формы в его научной установке нет места. Он готов найти проблему в этой системе так же, как и везде в мироздании. Окончателность его формулировки логическая, т.е. это утверждение о том, что гипотеза была приведена в непротиворечивую связь со всеми другими относящимися к делу открытиями в мире, каким он для нас существует. На данный момент она отвечает требованиям того, что мы называем фактами, как, например, два столетия отвечала им Ньютонова механика. Как фактическая постановка его проблемы, так и успешное *dénouement* его исследования обладают в мире ученого реальностью, принадлежащей настоящему, без каких бы то ни было предубеждений относительно их реальности в позднейшем настоящем. И только когда он предается философии, связь этих настоящих друг с другом становится проблемой. Она не является и не может быть научной проблемой, ибо ни поставить, ни решить ее экспериментальным методом невозможно.

Если вернуться к реальности данных в процедуре ученого, то, как я уже отмечал, мы понимаем, что данные имеют в каком-то смысле более долгую жизнь,

чем объекты, в терминах которых они установлены. В случае фотографий положений звезд вблизи Солнца во время полного затмения эти положения устанавливаются в терминах изменений в химических структурах пластины. Природа этих химических структур и то, что в них происходит под воздействием света, вероятно, изменятся с развитием физической науки; но на относительных положениях этих пятен на пластине иная природа пластины как объекта никак не скажется. Таким же образом относительные положения звезд и планет могут быть прослежены в отчетах о наблюдениях месопотамских астрологов, в каталогах греческих астрономов, в описаниях наблюдений Тихо Браге и в отчетах коперниканских астрономов. Объекты, которые видели эти разные наблюдатели неба, сильно различались, однако во всех этих документах можно идентифицировать одни и те же относительные положения. Было бы вместе с тем ошибочно полагать, что ученый может наблюдать просто относительные положения или что в мире реальности, в соотношении с которым он проверяет гипотезы, такие абстракции могут иметь независимое существование. Они являются абстракциями от вещей и имеют реальность только в связке этих вещей. Ученый может быть уверен или не уверен в природе звезд, но если его неуверенность рассеялась, то звезды должны быть объектами его перцептуального мира, положения которых он будет регистрировать, хотя для позднейших астрономов звезды будут иметь предположительно иную природу. Более того, даже в условиях неуверенности он должен наблюдать бесспорные перцептуальные объекты — далекие световые пятна и фотографические пластины. Мир не может быть выстроен из научных данных, абстрагированных от мира, в котором возникла проблема. Верно и то, что при проверке логической согласованности теории ученый, по крайней мере предположительно, возвращает свою проблему назад, в структуру тех перцептуальных объектов, на которые

его проблема не влияет, но если такие объекты располагаются вне проблемы, то любая несогласованность бьет по теории, а не по реальности объектов.

Так вот, значение этой особенности метода ученого, на чем уже давно настаивает профессор Дьюи, заключается в том, что познавательный процесс протекает внутри опыта и что так называемые перцепты, не попавшие под сомнение, которое знание стремится разрешить, просто наличествуют и не подвержены воздействию никаких когнитивных свойств. Мы не осознаем окружающие нас объекты, если только не пытаемся заверить себя в их существовании, их качествах и их значениях; хотя любой объект может пасть под подозрение и стать тем самым удостоверенным объектом познания. Мы должны быть способны, в логических и методологических целях, установить вещи, просто наличествующие, в терминах того, что мы находим в своих познавательных приключениях.

Я не буду пространно обсуждать анализ познания у профессора Дьюи, поскольку вряд ли смогу улучшить описание этого процесса, которое он дал, так же как и сделать его более убедительным для тех, кого он не убедил. Я хотел бы, однако, выделить одну черту этого опыта, который именуется перцепцией, даже когда речь идет о том, что просто наличествует отдельно от всякой установки осознания со стороны так называемых перцепиентов. Эта черта — дистанционный характер всех наших перцептуальных объектов. Как я уже отмечал, это опыт, в котором доминируют голова и ее нервное наследование. Физическая вещь возникла в опыте через прямой контроль нашего поведения по отношению к ней, поскольку ее связывают с нашими организмами дистанционные чувства, располагающиеся в голове; в этом случае связь через дистанционные чувства заранее вызывает и контролирует манипуляторные реакции в отношении отдаленного объекта, который мы ищем или избегаем. Перцептуальный объект соответствует свернутому акту, и если мы со-

мневаемся в реальности того, что видим или слышим, то мы должны довести акт до действительного контакта. Сомневающегося Фому может убедить только собственная рука. Даже тактильная иллюзия может быть развеяна только другими контактами. Мир, простирающийся вширь из нашей манипуляторной области, особенно в своих перспективных свойствах, легче всего забрасывается в когнитивное поле, хотя это никогда не касается больше чем некоторых черт мира. В наличии всегда есть мир перцептуальной реальности, служащий основой для нашего исследования. Следовательно, психологу и эпистемологу легко обобщить эту установку, приписав сознание всему перцептуальному опыту. А ответ им надо искать в местоположении их сомнений и в том, как они их рассеивают.

Мы не можем, конечно, отойти от непосредственного опыта обращения с объектом или видения его. Но мы можем установить условия, при которых объект нашего манипулирования и зрения наличествует (*is there*). Эти условия включают не только структуру физического мира, в котором мы находим объекты, но и организм, связанный с ним и с ними. В этом смысле мы можем проследить, как отраженный свет идет на сетчатку и как нервное возбуждение проходит по зрительному нерву к центральным нервным путям; и таким же образом можно проследить возбуждение нервов, идущее от кожи, мышц и суставов, когда наши руки манипулируют объектом.

Между тем, очевидно, что этот анализ происходит внутри мира вещей, таким образом не анализируемых; ибо объекты вокруг нас — единые объекты, а не просто суммы частей, на которые их разбивает анализ. И они являются тем, что они есть, в связи с организмами, среду которых они конституируют. Сводя вещь к частям, мы разрушаем вещь, которая была в наличии. Это уже не стол, не дерево, не животное. И даже если посредством какого-то процесса эти части срастутся и станут вещами, которыми они были, все же оста-

ется в силе то, что они не станут вещами, которыми они были в этой среде этого организма, коли уж они перестали быть частями этой среды. Мы говорим об этих различиях как о значениях, которыми обладают эти вещи в связи с организмами. При всем при том эти значения принадлежат вещам, и они так же объективны, как и свойства, принадлежащие этим вещам в средах других организмов. Для организмов, наделенных схожими аппаратами чувственного восприятия, чувственные качества по большей части одинаковы, хотя всегда есть различия в этих качествах, обусловленные различиями в этих аппаратах и в условиях, при которых вещи входят в связь с чувствами разных организмов. Другие свойства, как, например, питательность (для животного, которое может переварить и усвоить определенные вещи), опасность или защита, в равной степени возникают как объективные характеристики, когда объекты входят в связи с определенными организмами и принимают эти значения. Такие характеристики явно возникают вместе с развитием организмов и в их меняющемся опыте.

Наука пытается выделить условия, при которых эти новые вещи возникают или возникли. Она абстрагируется от особенностей частного опыта и ищет то, что является общим для как можно большего числа опытов. Таким путем она достигает вещей, которые, как предполагает анализ, имеют общую реальность отдельно от частного опыта, в котором существовали анализируемые объекты. Так мы достигаем вещей, принадлежащих любому возможному опыту, вплоть до пределов наших способностей к обобщению. Возникает вопрос: ускользает ли то, что соответствует этим самым широким обобщениям, от опыта и от принадлежащих опыту свойств и значений? Можем ли мы мысленно достичь того, что не зависит от ситуации, в которой имеет место мышление? Я задаю этот вопрос не с точки зрения метафизика и логика, которые исходят из аппарата мышления и познания,

служащих предпосылками порождающего их опыта, а с точки зрения науки, которая пытается проследить развитие мысли из низших типов поведения. Если мы постулируем разум, которому от природы присуще вступать в когнитивную связь с объектами, просто наличными для осознания и мысли, то этот разум может быть способен идентифицировать вещи, независимые от переживаний организмов, оказавшихся каким-то образом оснащенными такими разумами. Либо мы можем, вместе с идеалистами, перенести все среды в сам разум. Но если разум — это просто эмерджентное свойство некоторых организмов в их так называемых разумных реакциях на их среды, то он никогда не сможет выйти за пределы среды, в которой он оперирует. Не сможет разум выйти, обобщая все возможные опыты, и за пределы всякого возможного опыта; ибо делать свое мышление он должен внутри какого-то опыта, а возникающие из связи разумного организма с его средой значения должны принадлежать объекту его восприятия и его предельно широкой мысли. Можно утверждать, что эмерджентная эволюция не может отрицать возможность возникновения разума реалиста, обладающего этой способностью входить в когнитивные связи с объектами; ответ на этот вопрос, однако, надо искать в естественной истории разума и в изучении ментальных операций.

II. Физическая вещь¹

А

Очевидно, что определение физической вещи в терминах манипуляторного и дистанционного опыта должно относиться и к организму как физической вещи. Организм видится и осязается. Мы дополняем то, что приходит через непосредственное видение, тем, что добывается через зеркала и визуальные образы, а наши руки входят в контакт практически со всей поверхностью наших тел. Кинестетические и висцеральные переживания могут быть локализованы внутри наших организмов только тогда, когда эти организмы обрели наружности. Если мы используем давления поверхностей собственных тел друг на друга в переживании тел, воздействующих на нас, то это происходит лишь постольку, поскольку тело и другие объекты организованы в общем поле физических вещей. Несомненно, находящиеся в контакте поверхности и органические переживания, ограниченные этими поверхностями, есть в опыте ребенка, и из них возникают наружности и внутренности вещей. Но ребенок может определить границы своих телесных поверхностей только через вещи, не являющиеся его телом, и он обретает полные поверхности вещей, не являющихся его телом, раньше, чем обретает свой организм как ограниченную вещь. Генетически ребенок продвигается от периферии к своему телу. Если он использует давления организма, вкладывая внутренности в вещи, то тело должно было быть ранее определено своими контактами с ограниченными вещами. Важно осознать, что это продолжает быть в опыте связью между физическими вещами и телом как физической вещью и между физическими вещами, отличными от тела. Мы продвигаемся путем анализа во внутренности ве-

¹ Части А и Б этого очерка являются параллельными текстами, взятыми из двух разных рукописей.

щей, только достигая новых наружностей, служащих в действительности или в воображении условиями того опыта давления, который являет себя как внутренность либо тела, либо других физических вещей.

Множества физических вещей определяются, следовательно, по их границам, и среди этих вещей телесный организм получает свое определение таким же образом. Если, например, мы рассматриваем цвета и осязаемость вещей как зависимые от физиологических процессов в организме, то аргумент строится на допущении определенных физических вещей, в том числе организма как он есть в наличии. Приоритета реальности, приписываемой телесному организму, в опыте нет. Если можно помыслить, что рука пройдет через видимый стол, то в равной степени можно помыслить, что рука пройдет через видимую ногу. Эти физические вещи являются все без исключения дистанционными опытами. То есть они помещены в пространство, и чтобы быть таким образом помещенными, они упорядочиваются из центра O системы координат. Формы, в которых они появляются, суть оптические перспективы, и восприятие придает им реальность в терминах переживания манипуляторной области, в которой они подвергаются контактной проверке на перцептуальную реальность; но они остаются в этой области визуальными объектами. Внутри этой манипуляторной области искажения оптических перспектив исчезают. Вещи достигают стандартных размеров. То, что они имеют стандартные размеры, предполагает, что центр O может быть найден в любой точке, и там вещи будут обладать пространственными значениями, находимыми в этой манипуляторной области. Основопологающий постулат Ньютоновой физики, что любое множество картезианских координат можно взять как основу для упорядочения и измерения вещей и их движений, заключен в нашем перцептуальном мире. Понятийное мышление логически сформулировало установку перцептуального опыта. Тогда возникает вопрос: какова природа этой установки, благодаря ко-

торой восприятие безразлично перемещается из одного центра *O* в другой?

Дистанционных стимулов в непосредственном восприятии достаточно, чтобы вызвать приближение или удаление и вытекающие отсюда контакты и консуммации. То, что перцепция должна представлять отдаленные объекты как обладающие физическими значениями манипуляторной области, не содержится в успешном поведении воспринимающего организма. Сказать, что с дистанционной стимуляцией сплавлен памятный образ дистанционного стимула, как он проявлялся в области манипулирования, — значит спрятать процесс за термином. Он может быть сплавлен с ней таким образом, потому что отдаленная стимуляция уже есть физическая вещь. В манипуляторной области объект действует на воспринимающий организм, и это действие в перцептуальном опыте означает давление его объема на организм. Есть бесконечно много других характеристик его действия — его температура, его запах и т.д.; но все это характеристики его как массивной вещи, и до этой внутренней природы физической вещи мы никогда не доходим, подразделяя ее визуальные очертания. В физической вещи проявляется содержание, принадлежащее изначально только организму: это давление (то, что Уайтхед назвал «назойливостью» вещей). И вопрос в том, как оно проникает в вещь. Дистанционно-визуальные и контактно-тактильные границы присутствуют в непосредственном опыте. Я рассматриваю не метафизический вопрос о том, как мы приходим от внутреннего опыта к миру вне нас, а вопрос о том, как отдаленные ограниченные объекты обретают внутренности перцептуальных объектов — внутренности, никогда не обнаруживаемые подразделениями. Я уже высказал предположение, что давления телесных поверхностей друг на друга, прежде всего одной руки на другую, передаются объекту, и вопрос, который я ставлю, состоит в том, как происходит этот перенос.

Единственный ответ, который я на этот вопрос могу дать, следующий: хватая и толкая вещи, организм

идентифицирует собственное усилие с контактным переживанием вещи. Он возвышает это переживание своими усилиями. Схватить твердый объект значит стимулировать себя осуществить это внутреннее усилие. Организм возбуждает в себе действие, исходящее также из нутра вещи. Оно исходит из нутра вещи, поскольку опыт усилен действием тел на организмы и на другие вещи в воспринимаемом мире. Объект организма возбуждает в организме действие объекта на организм и тем самым оказывается наделен тем внутренним родом давления, который конституирует внутренность физической вещи. Лишь поскольку организм принимает при этом установку вещи, эта вещь приобретает такое нутро.

Формула этого процесса следующая: вещь стимулирует организм действовать, поскольку вещь действует на организм, и действие вещи есть сопротивление организма такому давлению, какое возникает, когда твердый объект крепко сжимается в руке. Сопротивление объекта и усилие руки неразрывно перетекают друг в друга. В развитии младенца этот опыт должен приходиться раньше, чем переживание собственного физического организма как целого. Младенец должен как-то размещать это усилие своей начинки вещей, прежде чем сможет идентифицировать усилие как собственное. Его окружения простираются во все стороны, и окрашенные в разные цвета формы становятся размещенными и знакомыми в мире, внутри которого его тело занимает в конце концов определенное место. Между тем давление его тела и схватывающее движение его рук должны локализовывать вещи из внутренней установки, и он в конце концов обретает себя как вещь через действие других вещей на него. «Материя» — вот имя, которое мы даем этой природе вещей, и ее характеристикой служит то, что она идентична реакции, которую она вызывает. Вес как давление или инерция как сопротивление изменению покоя или движения тождественны усилию, с помощью которого удерживается вес или приводится в движение или покой тело. Тело имеет

множество других свойств, заключенных в материи, но ни одно из них не обладает этой характеристикой. Цвет, звук, вкус и запах не могут быть отождествлены с реакциями, которые они вызывают, будь то в организмах или в других объектах, в то время как данное в опыте внутреннее содержание материи идентично реакциям, которые оно вызывает в вещах. Удивительным достижением науки эпохи Возрождения было то, что она вычленила это свойство материи как инерцию. Ньютон мог говорить о ней как о количестве материи или как о свойстве материи, за счет которого она остается в своем состоянии покоя или движения до тех пор, пока на нее не окажет воздействие внешняя сила. Инерцию и силу, следовательно, можно было приравнять друг к другу. В уравнениях Ньютоновой механики масса определяется через силу, а сила определяется через массу. Здесь Ньютон отразил фундаментальную установку опыта по отношению к вещам.

Думаю, теперь мы вполне можем ответить на вопрос, поставленный ранее: как получается, что мы наделяем вещи на расстоянии физическими значениями манипуляторной области? Иначе этот вопрос можно было бы поставить так: каковы опытные основания гомогенности пространства? Во-первых, неразрывность переживания усилия и материи физической вещи обеспечивает общую внутреннюю природу вещей, опознаваемую всякий раз, когда переживание на расстоянии находит завершение в своих контактных импликациях. Во-вторых, эта внутренняя природа налична лишь постольку, поскольку она вызывает реакцию усилия. Отдаленный объект, запуская по цепочке реакции захвата и манипуляции, вызывает в организме собственный внутренний род сопротивления. Здесь мы находим основу эмпатии Липпса. Было бы ошибкой рассматривать эту внутреннюю природу материи как проекцию организмом собственного чувства усилия в объект. Сопротивление пребывает в вещи настолько же, насколько усилие пребывает в организме, но сопротивление наличествует только в противовес усилию, или дей-

ствию других вещей. Втянутые таким образом в поле усилия, действие и реакция равны. Своей внутренней природой вещь определенно обязана организму — неразрывности усилия и сопротивления. Однако этот характер внутренности возникает лишь с появлением организма как объекта, т.е. с определением поверхностей и переживаний организма, лежащих внутри его очерченных поверхностей. Хотелось бы подчеркнуть, что в контактных давлениях и при пробуждении предвосхищающих манипуляторных реакций на расстоянии физическая вещь вызывает в организме нечто, неотрывное от ее внутренней природы, в результате чего действие вещи, когда оно есть, отождествляется с реакцией организма. Именно это позволяет организму переносить себя и свою манипуляторную область к любому отдаленному объекту и бесконечно расширять пространство манипуляторной области, выстраивая тем самым из несогласованных перспектив гомогенное пространство. Существенно здесь то, что физическая вещь возбуждает в организме собственную реакцию сопротивления, и организм как материя действует так же, как действует физическая вещь.

Выше я использовал два выражения, которые требуют дополнительных пояснений. Первое — это «идентификация внутреннего усилия организма с материей объекта». Как я уже ранее отмечал, это не означает, что организм проецирует внутреннее содержание в объект. Сопротивление наличествует в противовес усилию, но в организме младенца есть не только реакция нажима на вещь, но и — благодаря интеграции центральной нервной системы — возбуждение реакции давления другой руки на руку, давящую на вещь. Организм воздействует на самого себя, и при воздействии на самого себя его реакции идентичны его реакциям на вещи. Следовательно, вещь пробуждает в организме тенденцию реагировать так, как вещь реагирует на организм. В последние годы мы узнали, что функция центральной нервной системы у высших форм состоит в том, чтобы по возможности связать каждую реакцию в

организме с любой другой. В каком-то смысле все реакции так взаимно связаны благодаря взаимосвязям иннервации и торможения. Однако нужно проводить различие между объектом в манипуляторной области, который одновременно видится и трогается руками, и отдаленным объектом, который находится вне досягаемости и в то же время лежит в визуальной перспективе. Мы видели, что неразрывность усилия и сопротивления материи помогает помещать организм с его манипуляторной областью к отдаленному объекту. Смысл, в котором это осуществляется, обнаруживается в реакциях, которые возникли бы в этом местоположении, — реакциях, которые возбуждаются, хотя и в заторможенном виде, внутри организма. Я только что указал на то, что отдаленный объект вызывает, наряду с усилием реагирования на него, реакцию собственно сопротивления. В «присутствующем» отдаленном объекте заключены не просто тенденция реагировать на него, пусть даже в предвосхищающей манере, и не просто местоположение его как физического объекта, достигаемого посредством простого чувственного образа его осязания, если только не иметь в виду под памятным образом тенденцию организма младенца давить так, как давит отдаленный объект, вызывая тем самым тенденцию реагирования собственным давлением. Именно последняя реакция конституирует в нашем опыте физический объект — нечто, имеющее внутренность. Я убежден, что это воплощение объекта в реакциях организма является существенным фактором возникновения физической вещи.

Объект присутствует в его непосредственном сопротивлении усилию организма. Однако присутствует он при этом не как объект: ему недостает внутренности. Он обретает свою внутренность, когда вызывает в организме собственную реакцию и тем самым ответную реакцию организма на это сопротивление. То, что было названо природой объекта, как она вызывается в организме, являет себя в ощущении твердости, или сопротивления. В опыте индивида, как предположил

Локк, поистине присутствует та же протяженная сопротивляющаяся природа, что и в мире, но для Локка в опыте индивида это была «идея», т.е. ощущение. Если признать тождественность сопротивления и усилия, то характер «идеи», т.е. чего-то относящегося к опыту индивида, привходит в этот опыт тогда, когда пробуждается реакция организма в форме сопротивления, являющегося внутренней природой вещи. Они, как мы уже видели, идентичны по характеру. Оба — и физический объект, и организм — материальны. Что необходимо показать, так это что объект пробуждает в организме не только реакцию на физическую вещь, но и реакцию на себя как на объект, вызывающий эту реакцию. Механизм, с помощью которого это совершается, — головной мозг. Механизм провода и подсоединенной к нему электрической лампочки — механизм просто реакций на внешние стимулы. Такие стимулы императивны в своих требованиях. В свою очередь, головной мозг — это орган, интегрирующий самые разные реакции, включая низшие рефлексy, и в особенности служащий центром для органов чувствования на расстоянии, расположенных в голове. В интегративном процессе есть разные альтернативные комбинации, а также соответствующие альтернативы для торможений, с необходимостью предполагаемых интеграцией. Это вводит отсрочку реакции и отладку типа реакции путем отбора, т.е. выбор. Выбор предполагает больше, чем состязание двух или более стимулов за контроль над органической реакцией. Он означает, что ситуация находится в каком-то смысле внутри поведенческого паттерна организма. Неделаемое определяет объект в той форме, в которой мы на него реагируем. Очерчивающие объект поверхности, его сопротивления в различных возможных реакциях на него, те применения, которые ему в той или иной степени можно дать, составляют этот объект и являются свойствами объекта, которые могут потерять свою статичную природу, если предполагаемые ими реакции будут действительно осуществляться. Они конкурируют за действие организма, но,

поскольку не осуществляются, конституируют объект, в отношении которого происходит действие, а внутри целостного акта фиксируют условия той формы, которую акт принимает. Все эти реакции обнаруживаются в нервной системе как пути реакции, взаимосвязанные со всеми другими путями. Если какие-то реакции доминируют, то они *ipso facto* тормозят все другие. Детально проследить этот процесс торможения можно в использовании противоположных мышц и конфликтующих рефлексов. Это в равной мере расслабление одних мышц и иннервация других. Чтобы осуществить какую-то одну реакцию, головной мозг тормозит все другие. Эта система одинаково ответственна за то, что она делает, и за то, чего она не делает.

В поле материи сопротивление, которое объем тела оказывает руке или любой другой поверхности тела, и тенденции манипулирования им, когда он видится на расстоянии, организуются по-разному. Есть, скажем, склонность взять книгу с дальнего стола. Форма и сопротивление книги присутствуют в каком-то смысле в уже имеющейся в организме настроенности при виде книги. Мой тезис состоит в том, что заторможенные контактные реакции в дистанционном опыте конституируют значение сопротивления физического объекта. Прежде всего они противодействуют реакциям, либо уже актуально иннервированным, либо пребывающим в перспективе иннервации. Они конкурируют за поле реакции. Кроме того, в рамках целостного акта они фиксируют условия действительной реакции. Особенно я имею в виду реакции, образующие материю в дистанционном опыте. Когда я в отдалении вижу книгу, возбуждается бесконечное множество манипуляторных реакций, таких как взятие ее несколькими способами, открытие, вырывание страниц, нажатие на нее, протирание и многое-многое другое. Одна из них, а именно поднятие ее, преобладает и организует весь акт. Следовательно, она тормозит все другие. Тенденции к выполнению этих других реакций заключают в себе то же сопротивление манипуляции и

находятся теперь в прямой оппозиции возобладавшей реакции; но, будучи таким образом противостоящими, они обеспечивают условия осуществления возобладавшей реакции. Осязание книги на ощупь при ее протирании, очертания при прохождении рук по ее поверхности, возможность открыть книгу и т.д. определяют форму, которую примет взятие и поднятие книги. Вообще говоря, то, что человек не делает с книгой, — поскольку оно вызывает то же сопротивление, что и данное при актуальном манипулировании ею, и поскольку оно тормозится тем, что он с ней делает, — оккупирует в опыте «то, что есть книга», в противовес реакции, являющейся выражением акта. Торможение здесь не означает полного несуществования этих реакций, ведь они оказывают на преобладающую реакцию обратное воздействие, определяя ее форму и природу. Способ, которым берется книга, определяется другими путями реакции — как теми, которые тормозятся, так и контролями настроек, в которых невыполняемые реакции все же частично иннервируются. Акт есть подвижный баланс, внутри которого многочисленные реакции включаются в преобладающую реакцию и выключаются из нее. Неделаемое вовлечено в непрерывное определение делаемого. Именно сопротивление, заключенное в неделаемом, является материей объекта, на который мы реагируем.

Поскольку мир существует для организма, поскольку он есть среда организма, постольку он отражается в реакциях организма на мир. То, с чем мы деятельно входим в контакт, присутствует в противовес организму, но явно бóльшая часть того, что нас окружает, такова, что мы на нее не полагаемся и ею не манипулируем. Она отстоит от нас в пространстве и времени, и все же имеет внутреннее содержание, являющееся продолжением того, что лежит у нас под ногами и в пределах нашего схватывания. Эти дальние объекты не только вызывают в нас прямые реакции движения к ним или от них и манипулирования ими, но и пробуждают в нас объекты, действующие на нас изнутри

нас самих. Я пытался представить нервный механизм, при помощи которого эта внутренняя природа внешней вещи появляется в опыте.

Если вид книги вызывает прямую реакцию движения к ней, то в этой реакции нет ничего кроме позыва организма к этому акту. Но если будятся все другие реакции, за которые может быть ответственна книга, то они могут войти в акт лишь постольку, поскольку они тормозятся или координируются. Они противятся преобладающей реакции движения к книге, пока интеграция акта не приведет их в пространственные и временные связи с торможением их непосредственного выражения. Именно это противостояние я и назвал сопротивлением. Мозг — часть центральной нервной системы, относящаяся к дистанционным чувствам. Вместе с тем он имеет прямую связь с рефлексамии спинномозговой системы. Он не только ориентирует голову и тем самым организм на отдаленные объекты, но и связывает эти отдаленные стимулы с реакциями туловища и конечностей, которые эти объекты вызывают, когда организм втянут в контактный круг объектов; так что эти последние реакции возбуждаются заранее, еще до ситуации, внутри которой они могут быть действительно иннервированы. Итак, объект выражает себя в организме не только стимулированием приблизиться или уйти, но и предвосхищающим возбуждением реакций, которые будут выполнены позже. Говоря «выражает себя», я имею в виду, что связи, делающие из окружающих объектов среду организмов, действуют в самом организме. Среда налична для организма во взаимосвязи организма и среды. Отложенные реакции, интегрированные в акт по отношению к дальнему объекту, конституируют этот объект, каким он будет или, по крайней мере, может быть для организма. Но чтобы он мог быть объектом, он должен иметь внутреннее содержание, о котором мы говорим как о результатах ныне отложенных реакций. То, что они должны в каком-то смысле присутствовать в отдаленном объекте, требует объяснения. Я предла-

гаю объяснить это через сопротивление, которое они встречают в преобладающем акте, в связи с которым они должны быть интегрированы. Это сопротивление мы находим в регулировке и отсрочке исполнения и в тех торможениях, которые они за собой влекут.

Первичная фаза этого сопротивления, как мы выяснили, заключена в материи физического объекта. Неразрывная связь сопротивления объекта с сопротивлениями частей организма друг другу конституирует материю и объектов, и организма и переносит на объекты внутренность органических сопротивлений им, тогда как объекты в их пространственной организации ведут к определению организма как физического объекта. Но, как я ранее отмечал, это сопротивление проявляется как внутренность физической вещи только тогда, когда объект вызывает в организме собственную установку сопротивления как объекта. Физическая вещь использует наши тенденции к сопротивлению заранее, до действительного контакта, так что в поведении организма она существует не как ощущение организма, а как вход организма в объекты посредством принятия их установок и — через это — определения и контролирования собственной реакции. Есть, конечно, непосредственная реакция организма на оказываемое на него давление, и в нее объект как объект не входит. Здесь нет того качества объекта, которое было бы названо ощущением. Есть просто грубая реакция организма на свою среду. Но когда эта установка сопротивления объекта организму может быть пробуждена в самом организме, в противоположность сопротивлению организма ему, тогда появляется то, что философия разума могла бы локализовать в организме как ментальное: идея, в локковском смысле. Между тем исследование развития опыта младенца показывает, что сначала среда должна войти в органические реакции ребенка как сопротивление, подобное сопротивлениям, которые организм оказывает самому себе, и только потом организм может определить себя и свои переживания в противо-

положность окружающим его физическим вещам. Именно механизм головного мозга в своих соединениях с реакциями спинного мозга и мозгового ствола сделал возможным это исполнение роли физического объекта в поведении организма; и, в частности, он использовал манипуляторные реакции руки в пресечении хода реакции к ее консуммации. Здесь общее сопротивление вещи и руки дает вещи возможность играть свою роль в поведении организма. Науке Возрождения оставалось лишь выделить эти измеряемые характеристики физической вещи как условия всех других качеств вещи, проявляющихся в опыте.

В непосредственном опыте вещь является гладкой или шероховатой, приятной или мучительной так же прямо, как и оказывающей сопротивление. Гладкость или шероховатость, приятность или неприятность предполагают различные реакции, осуществляемые по отношению к отдаленному объекту, и они входят в организацию акта, даже если непосредственно тормозятся. То, что они непосредственно не выполняются, означает, что они организуются вокруг преобладающей реакции приближения или удаления и последующих реакций. Мой тезис состоит в том, что сопротивление, которым наделяет их эта организация акта, идентифицирует их как качества вещи, пусть даже и такие, которые присущи физической вещи как сопротивляющемуся объекту. Поверхность, которую мы называем гладкой, вызывает тенденцию погладить ее, но то, что сделать это человеку нельзя, пока он не достиг и не достал ее рукой, означает, что действительное явление гладкости или приятности ждет манипуляторного сопротивления физической вещи. Зависимость явления этих качеств от акта, организованного с расчетом на достижение физического объекта, есть органическая фаза контактной реальности отдаленного объекта. Суть в том, что эта контактная реальность отдаленного объекта утверждает себя в нервной организации путем торможения реакции, вызываемой этими качествами отдаленного объекта через реализую-

ющий их организованный акт. Поскольку тенденция погладить далекий гладкий объект удерживается под контролем организации акта, реализующего эту тенденцию, то тем самым утверждается условная реальность гладкости объекта. Если она не может встроиться в организацию такого акта, то мы отвергаем ее как иллюзорную; например, мнимую влажность свечения над песком пустыни нельзя встроить в акт движения туда и испития иллюзорной воды. Эти качества отдаленному объекту сообщает принятие торможений, заключенных в организованной установке приближения. Заключенные в организации сопротивления ведут к процессам, которые возбуждаются прежде, чем смогут быть реализованы, и все же детерминируют форму акта, который доводит их до завершения.

Развитие головы и головного мозга как центра дистанционных чувств дало организму два основополагающих свойства, относящихся к разуму. Оно привело к предвосхищающему возбуждению реакций, которые могут быть реализованы лишь при условии осуществления реакции тела на его непосредственные сопротивления при достижении цели. Так организовав акт, что эти возбужденные, но не завершённые реакции могут быть доведены до конца, оно внесло в механизм акта будущее и обусловливание настоящего и будущего друг другом. Опять-таки, оно сделало возможным возбуждение в организме того сопротивления физической вещи, которое является общим для вещи и организма. Физическая вещь, внешняя для организма, может вызывать собственную реакцию и ответную реакцию организма. В форме пространственно определенного сопротивления в реакциях организма присутствует действие отдаленного объекта вместе с его ценностью для возбуждения надлежащих реакций организма. В форме реакции в поведении организма присутствует отдаленный объект. Кроме того, и другие качества объекта, реализация которых зависит от осуществления органического акта, становятся — через организацию реакций на них в акт и через принятие его контроля —

способами, которыми объект явлен в поведении организма. Таким образом, при наличии механизма высшей нервной системы объект может проявляться в опыте через реакцию организма на него. Он присутствует в своих ценностях, которые будут отражаться в реакциях организма; но он присутствует до этих реакций. И именно благодаря присутствию объектов организм может в собственном опыте сам стать объектом.

Б

Имеется характерное различие между так называемыми первичными и вторичными качествами. Сущность материи явлена в первичных качествах протяженности, действенного занятия пространства и подвижности. В нашем опыте они соответствуют тому, что Ньютон называл количеством материи. Последнее проявляется в непосредственном переживании пространственного сопротивления тела. Оно проявляется в силе инерции. Во всяком случае, это переживание объекта, оказывающего длящееся сопротивление, переживание наших тел, приобретающих инерцию, переживание усилия, необходимого для приведения в движение массивного тела и для изменения состояния его движения. Протяженность, объем и сопротивление изменению покоя или движения — все это не может быть точно определено в терминах нашего чувственного опыта, но все это свойства, позволяющие нам помещать себя внутрь физического объекта. Его сопротивление равно нашему собственному. Он чувствует то же самое. В случае вторичных качеств свойства, проявляющиеся в нашем зрении, слухе, вкусе и обонянии, не могут быть общими со свойствами самого физического объекта, которому они соответствуют. Организм обнаруживает себя в связи с объектами, имеющими такие качества, не потому, что он красный, соленый, шумный или пахучий. Организм вступает в связь с сопротивляющимися объектами через собственное сопротивление. Если мы ищем биологический механизм этого опыта, как мы поступаем в случае других так называемых

чувств, то мы находим его в сопротивлениях, которые оказывают друг другу разные части организма. Так, рука надавливает на разные части тела, и те в ответ на это давление сопротивляются. Если человек надавит на поверхность стола, то получит то же переживание, что и при давлении на свою руку, разве что не будет реакции сопротивления давлению со стороны другой руки. Здесь есть общее содержание, благодаря которому организм переносится позже во внутренности вещей. Ни в каком другом чувственном опыте мы не переходим в вещь. Она может воздействовать на нас своим цветом, запахом, вкусом или температурой, но связь эта не устанавливает в нас характер объекта. Сопротивление, действенное занятие пространства, или Локкова «плотность», имеет в опыте, по его мнению, общий характер, присутствующий одновременно и в индивиде, и во внешних вещах. Если сформулировать это в терминах «идеи», или ощущения в уме, то все здесь — внешний эффект и внутреннее чувство — заключено в разуме, куда поместил его Беркли и где оставил его рассеянным среди других впечатлений ума Юм. Что требует более глубокого анализа, чем допускался психологией их длительности, так это та сторона физической вещи, которую я назвал ее внутренностью. Этот термин указывает не на новые поверхности, открываемые членением вещи. Он предполагает то единство вещи, которое Кант и его последователи-идеалисты помещали в процесс суждения; но он предполагает еще и нечто сверх того, а именно — элемент активности, выраженный в термине *сопротивление*. Когда одна рука давит на другую, каждая рука сопротивляется другой изнутри. Как я говорил, когда рука давит на стол, в сопротивлении стола есть элемент, идентичный тому, который мы находим во взаимном сопротивлении двух рук; но хотя стол сопротивляется руке так же действенно, как и другая рука, сопротивление стола, взятое как абстрагированный опыт, лишено характера активности, присущего давлению противостоящей руки. Тем не менее требуется абстракция, чтобы изъять из стола это качество. Ска-

зять, что мы вкладываем это качество в вещь, масса или инерция которой сопротивляется воздействию на нее силам, значит либо вернуться к доктрине сознания сущности, скорее отделяющей индивида от физических вещей, нежели взаимно связывающей его с ними, либо прийти к игнорированию того факта, что организм индивида входит в опыт лишь постольку, поскольку его определяют и ориентируют другие объекты. Нет у нас также оснований полагать, что индивид локализует внутренность в самом себе раньше, чем в других вещах. Должно быть достаточно очевидно, хотя на самом деле это сплошь и рядом упускают из виду, что мы стали физическими вещами не раньше, чем окружающие нас объекты, и что мы анатомизируем самих себя, как недавно отметил Расселл, лишь постольку анатомизируем других. Между тем в эволюции неокортекса можно разглядеть механизм, с помощью которого высшие организмы могут жить в среде, наполненной физическими вещами, включая их самих, которые все имеют внутренности. Несомненно, реакция изнутри должна исходить от организма, а не от внеположной ему физической вещи, но она не может быть локализована внутри организма до тех пор, пока организм не определен взаимосвязями с другими вещами.

Обширное развитие головного мозга сделало возможной иннервацию и организацию реакций, предшествующую их выполнению. Когда организм, наделенный такими органами, обнаруживает, что его рука оказывает давление на сопротивляющийся объект, тогда имеет место опыт, общий для давления объекта и другой руки, и возникает стимул отреагировать ответным давлением так же, как отреагировала бы другая рука. Организм стимулирует себя — своим воздействием на объект — действовать по отношению к себе на манер другого объекта. Для животного, чья центральная нервная система включает только позвоночный столб и мозговой ствол и чьи реакции, стало быть, происходят без отсрочки, такая тенденция реагировать на собственную реакцию на объект была бы

несуразна и бессмысленна. Для животного, чьи экстерорецепторы приводят его в связь с дальним объектом и чей неокортекс позволяет начать и организовать его реакции заранее, до удовлетворяющего или опасного контакта, чрезвычайно выгодно быть способным действовать в некотором смысле на месте отдаленного объекта и тем самым быть готовым к собственной последующей реакции. Там, где действие других вещей на нас в какой-то степени идентично нашим собственным реакциям, так что начало нашего действия на них может стимулировать нас вызвать в собственных организмах отложенную реакцию, помещающую нас в их установки, там они могут стать для нас объектами одновременно с тем, как мы можем стать объектами для самих себя, поскольку подходим к собственному позднему действию с точки зрения другого. Ведь мы никогда не можем стать Я, если действие, в которое мы вовлечены, не включает действие по отношению к собственным организмам. Чтобы стать сознательными Я, нам, несомненно, необходим механизм коммуникации, но матрицей для коммуникации является даваемая нами самим себе стимуляция действовать так, как будут действовать те, на кого действуем мы.

Следовательно, у физической вещи есть два свойства, если подойти к ней с точки зрения генезиса опыта, как мы находим его у индивида и каким мы выводим его в ранней истории человеческого сообщества. Первое — это свойство неразрывности переживания давления в организме и сопротивления в физическом объекте. Переживание организма в его контакте с физическим объектом — это давление, характеризующее физический объект. Это, как мы видели, отличает контактное переживание от переживания так называемых вторичных качеств. Здесь переживается сопротивление физической вещи, и переживание этого сопротивления — само по себе сопротивление в организме. Поскольку выражение «переживание [того-то]» несет с собой опасные импликации, лучше сформулировать это утверждение следующим образом: в контактном

переживании сопротивляющийся характер объекта идентичен сопротивляющемуся характеру организма; а в дистанционном переживании характер объекта никак не присутствует в организме. Второе свойство объекта — это, несомненно, заимствованное у организма, становящегося объектом, актуальное или потенциальное действие на организм изнутри него самого. Я также назвал это свойством «обладания внутренностью». Именно это идентичное для организма и объекта свойство сопротивления открывает возможность такого заимствования. Принять установку давления на объект — значит вызвать в организме установку контрдавления. Это фундаментальная установка, отраженная также в законе действия и противодействия Ньютона. Должно быть действие объекта, равное действию организма на него; только тогда он может быть в нашем опыте физической вещью. При схватывании объекта, толкании его, опоре на него, любой манипуляции им объект должен отвечать организму равным сопротивлением, чтобы быть и остаться вещью. Психологический анализ использовал термин «кинестетические образы»; в эстетическом анализе о них говорилось как об «эмпатии». Мы рассматриваем объект как не просто оказывающий пассивное сопротивление, а активно нам сопротивляющийся. Меж тем фундаментальная значимость этих фактов для появления физического объекта в опыте не была, на мой взгляд, осознана. Ее легко упустить из виду, ведь установка реакции вещи на давление идентична установке организма, хотя противоположна по направленности. Эта самая противоположность и раскрывается в появлении организма как физического объекта. Такой объект может появиться, только когда организм принял установку действия по отношению к самому себе, и приглашение к этому мы находим в том факте, что мы своей установкой по отношению к физической вещи стимулировали себя реагировать при давлении так, как реагирует вещь.

Здесь надо рассмотреть два вопроса. Первый — относительно поздняя абстракция физического объекта

от социального объекта и необходимость принятия организмом установки другого для того, чтобы он стал объектом для самого себя. Второй — структура пространства в нашем опыте. Это находит выражение в картезианских координатах и в сохранении идентичной структуры, куда бы ни помещалась точка отсчета системы. Это первый пункт в ньютоновской относительности. В нашем перцептуальном пространстве индивид находит центр системы в самом себе, а координатные оси тянутся вверх и вниз, направо и налево, вперед и назад от него. Они органически заданы в его двусторонней симметрии и в сохранении им вертикального положения в противовес отдаленному объекту, находящемуся на линии зрения. Я хотел бы подчеркнуть, что перцептуальное пространство включает в себе больше, чем эту ориентацию. Искажения отдаленного визуального пространства в очень значительной степени корректируются в восприятии. Мы видим вещи в параметрах и структуре манипуляторной области. Иначе говоря, мы распространяем на них пространство области манипулирования. И это явно может быть осуществлено в непосредственном опыте лишь тогда, когда в перцепции есть механизм принятия установки отдаленного объекта. Именно вид отдаленной физической вещи стимулирует организм принять свою установку сопротивления; в этом самая суть видения твердой вещи. Видение физической вещи где-либо в нашей области восприятия локализует нас там наравне с тем, где мы находимся, — и, по сути, благодаря тому, что локализует нас там, где мы находимся. Помимо и сверх тенденции двигаться к отдаленному объекту или от него, непосредственное размещение в перцептуальном пространстве предполагает наличие вещи в определенной точке, а наличие вещи по ту сторону стимуляции к приближению или удалению предполагает характер действия вещи в этой точке — ее активное сопротивление, заимствованное, как я уже сказал, из реакций организма.

III. *Научные объекты и опыт*

Процесс познания для ученого идет по иному маршруту, нежели для эпистемолога. Ученый отталкивается от бесспорного материального мира и от бесспорных объектов, предстающих в проблеме, которой посвящено его исследование; от них он переходит путем умозаключения к формулировке своей гипотезы и последствий, ею предполагаемых, а затем к наблюдению и эксперименту, с помощью которых его гипотеза проверяется. Хотя он критикует свои перцептуальные опыты и показывает ошибки и иллюзии восприятия, его критика всегда основывается на наличных объектах; и его критика не обесценивает их, поскольку он должен обращаться к ним как к мерилам ошибок, которые он обнаруживает. В процессе продумывания гипотезы его идеи символизируют связи в наличном мире, и он осторожно пытается отыскать среди них взаимосвязи, которые преодолеют конфликты между объектами и их значениями или между разными значениями вещей. В заключение он дедуцирует результаты, вытекающие из его гипотетической реконструкции, и путем наблюдения и эксперимента в несомненном мире находит — или не находит — подтверждения, которого ищет. Он когнитивно переходит от принятого перцептуального мира через исключительные случаи и конфликтующие значения к тому же самому миру после реконструкции его значений. Сам этот мир он никогда не ставит под вопрос.

Эпистемолог, в свою очередь, отталкивается от того факта, что все перцептуальные опыты зависят от связи мира с организмом, и использует такие опыты, как иллюзии и ошибки восприятия, для того чтобы разместить перцепты в сознании, совершенно отдельном от мира объектов, к которому эти перцепты отсылают. Эта

позиция была значительно упрочена учением науки Возрождения о том, что вторичные качества не могут принадлежать физическому миру, которым занимается физическая наука. Познание, как его понимает эпистемолог, пытается перейти от этих состояний сознания, в том числе всего перцептуального опыта, к онтологически отдельному миру, к которому эти состояния сознания, видимо, реферируют. Таким образом, он приходит к выводу, что когнитивная референция присоединяется ко всему перцептуальному опыту. Существование мира, к которому отсылают такие состояния сознания, становится проблемой эпистемолога.

Важно поместить научный объект в его связь с перцептуальным миром, который, как мы видели, предполагается как проблемой ученого, так и его экспериментальными данными. Этот объект есть абстракция от объекта в опыте, которая поддается точному измерению. Кроме того, он физическая вещь, т.е. занимает протяженный объем, который можно вовлечь в радиус манипуляторного опыта. Даже когда мы, следуя идее Бройля, устанавливаем материю в терминах волнового движения, мы должны для измерения волн возвращаться к определенной части пространства, находящейся в пределах нашей области мыслимой манипуляции. Эфир, пока наука его удерживала, можно было мыслить как вещество, занимающее это пространство, и ему могли приписываться упругость и жесткость.

Если обратиться к экспериментальным открытиям, к которым должна апеллировать даже самая невразумительная гипотеза (когда апелляция эта так или иначе возможна), то мы находим, что проверка происходит внутри того, что я назвал манипуляторной областью. Мы находимся здесь, имея дело с показаниями стрелок, отражающими изменения, находящиеся на некотором расстоянии от изменений в приборе. Внутри этой манипуляторной области визуальные перспективы исчезают, и мы можем достичь высокой степени точности в измерении. Ее пространственная структура, как мы

видели, — это пространственная структура твердого тела, и, насколько к ней применимы физические критерии, это пространство Евклидовой геометрии. Что здесь особенно важно, так это то, что именно внутри этой области мы находим, прямо или косвенно, наши общие объекты. Например, пенни, которым так оживленно были заняты эпистемологи, — один и тот же пенни для разных наблюдателей, смотрящих на него под разными углами зрения и с разных расстояний, поскольку эти разные визуальные пенни признаются явлениями одного и того же пенни, который каждый наблюдатель под контролем своего визуального опыта мог бы потрогать и повертеть в руках. Благодаря общему методу манипуляции, измерения и размещения манипуляторные области разных наблюдателей становятся, таким образом, идентичными. Важно признать, что в то время как каждый индивид будет получать от пенни опыт давления, в каком-то смысле особенный для него, метод идентификации пенни, который переживают все, для него не специфичен. Это логическая процедура, сущности и связи которой существуют лишь постольку, поскольку конституируют универсальный фактор в опыте индивида. Иначе говоря, индивид не проводит сначала собственные измерения и достигает своих идентификаций, а потом сравнивает их с идентификациями других, чтобы достичь общего объекта; его метод определения скорее состоит в терминах языка, который, с его различными символами, обретает существование благодаря тому факту, что индивид принимает установку, общую для всех вовлеченных в общее дело. Этот общий пенни, однако, обретает реальность экспериментальных открытий лишь при условии, что он возвращается прямо или косвенно в нечто измеримое в манипуляторной области. В основе процесса измерения лежит, конечно, фундаментальный механизм перцепции, в котором дистанционные опыты ведут к контактным, контролирующим среду в интересах организма. Контактные переживания — это

реальность дистанционных переживаний. Физический объект, однако, конституирует разрыв в простейшем биологическом процессе, находящем свое завершение в консуммации, которой требуют биологические нужды организма. Именно рука под контролем глаза отвечает за манипуляторную область. Объект, которым орудует рука, оказывается между видением пищи и ее съедением. Если биологический процесс под влиянием дистанционной стимуляции проходит без прерывания до консуммации, то никакого физического объекта в опыте не возникает. Итак, в биологическом смысле манипулируемый, или физический, объект является опосредующей реальностью. В абстракции от консуммации это прежде всего средство, и только потом — физическая вещь позднейшей науки.

Когда эксперимент Майкельсона — Морли и затруднения, высвеченные отсутствием инвариантности в уравнениях Максвелла для электромагнитного поля, изгнали эфир как физическую вещь, его заменил эфир «основы» (stuff), или, по выражению Уайтхеда, событие, и время вошло в физическую вещь как его параметр. Мы уже видели, что в перцептуальном мире пространство и время неизбежно разделены. Движение подразумевает движущееся нечто, которое irrelevantно темпоральному процессу. Событие всегда случается с чем-то. Поразительный результат новейших изменений в физической науке и новых теорий, которым эти изменения положили начало, состоит в том, что событие заняло место физической вещи. В перцептуальном мире и в мире движущихся масс события происходят с вещами. В противовес изменению есть неизменные вещи, являющиеся условиями изменения. Иначе говоря, в перцептуальном мире пространство и время с необходимостью разделены. Пространство-время не может быть формой перцептуального опыта. Мы можем перейти из одной перспективы в другую и понять, что то, что с одной точки зрения является покоем, с другой точки зрения явля-

ется движением; но в каждой перспективе есть вещи постоянные, иррелевантные времени, и они придают значение происходящим во времени изменениям. Если перспективы можно свести к разным явлениям вещей, остающихся на протяжении всех изменений теми же самыми, то относительность не вытравит природу вещей; но если природа вещей обнаруживается в процессе, в системе изменений, то разные ценности, которые этот процесс принимает с различных точек зрения разных, но связанных друг с другом наблюдателей, должны воздействовать на сами природы вещей. Тем не менее мы не можем реально редуцировать вещи к процессам, ибо невозможно, чтобы протекали процессы, которые не являются процессами вещей, и измерения могут делаться лишь в ситуации, в которой что-то остается иррелевантным времени.

Пока событие имеет место, мы смотрим на него, слушаем или осязаем его; но если мы можем завершить иницилируемое им поведение, то тогда мы выделяем вещь, с которой случается это событие. Меж тем с точки зрения относительности никакой физический объект не может быть изолирован от того, что с ним происходит. Если в одном согласованном множестве, которое ученый подвергает измерению, он покоится, то в другом — движется; и не только его измерения в пространстве и времени меняются в зависимости от относительных скоростей этих множеств, но и содержание массы внутри него — тоже. Ничто нельзя схватить, кроме преобразований этих измерений от одного множества к другому и совпадений событий в абсолютном пространстве. И все это сводится к тому, что прежде чем овладеть вещью в перманентном пространстве, в котором мы можем ее измерить и определить ее внутреннее массосодержание, мы должны поместить себя на расстояние от нее в другом пространстве и определить ее изменения, обусловленные относительными скоростями этих двух пространств и их согласованных множеств.

Итак, мы перевернули фундаментальный порядок нашего поведения и сделали «что есть вещь» дистанционным опытом вместо контактного опыта. Резон для такого переключения очевиден. Объект в манипуляторной области принадлежит перспективе индивида и — поскольку эта манипуляторная область может быть определена через измерения, общие для всех членов сообщества, к которому он принадлежит, — пространству и времени того согласованного множества, членом которого является его организм как физическая вещь. Только поместив себя в отдаленное согласованное множество, мы можем осознать, что искажения, претерпеваемые объектами этого множества, — те же самые, что и те, которые претерпевает наше множество, когда видится с этой точки зрения. Поскольку нет абсолютного пространства, к которому эти различающиеся точки зрения можно было бы отнести так, как могут быть отнесены к общей манипуляторной области зрительные перспективы, то не может быть манипуляторной области, к которой можно было бы отнести эти перспективы, или рамки соотнесения. Измерительная рейка и часы, дающие местное время, принадлежат к манипуляторной области, и количества, ими измеряемые, будут варьировать от одного множества к другому. Нет никакой общей измерительной рейки, никаких общих часов, которые все смогли бы принять. Разные наблюдатели могут лишь использовать общие формулы преобразования, посредством которых измерения, сделанные в одном множестве, могут быть переведены в измерения другого. Следовательно, мы остаемся с языком дистанционных световых сигналов, которые могут не относиться ни к одному объекту, общему для опыта всех. Правда, путем применения этих формул мы можем выделить константную ценность для интервала между совпадениями событий в пространстве-времени Минковского, и эту константную ценность можно рассматривать как общую реальность, к которой в конечном счете отсылают все изме-

рения, сделанные с точек зрения разных перспектив. Это пространство-время, однако, абстрагируется от каждого свойства (character) в дистанционном опыте, значение которого заключено в его референции к общему физическому объекту. В дистанционном опыте оставляются только те свойства, которые соотносятся с единой формой калькуляции, общей для всех разных перспектив. Именно эта абстракция и делает возможной ассимиляцию времени в пространство в качестве четвертого измерения. Для этих вычислений то, что является временным отрезком в одной перспективе, будет пространственным отрезком в другой. Было бы, однако, ошибкой полагать, что мы перешли таким образом в область коммуникации, в которой наши символы потеряли всю свою значимость, за исключением отсылки к общему референту. На самом деле мы все еще остаемся в визуальном мире с конечным значением скорости света; только физическая вещь, к которой отсылает этот визуальный опыт, устанавливается в терминах расчетного значения, общего для бесконечного числа разных визуальных перспектив.

Схожую критику можно высказать и в адрес воззрения, полагающего, что природу физической вещи конституирует энергия. Ведь наличный перцептуальный мир должен быть системой вещей, а энергия есть мера изменений, вызываемых в этой системе, когда на нее воздействует извне какая-то сила. Между тем эксперименты и математическая формулировка, в которую облекла результаты этих экспериментов термодинамика, позволили сделать вывод, что такое измерение раскрывает лишь потенциальную энергию в системе. Насколько широкие мы имеем основания для расширения генерализации сохранения энергии, стало предметом споров, хотя, как указал Пуанкаре, мы всегда можем исходить из потенциальной энергии, чтобы оставить доктрину в неприкосновенности. Но когда мы делаем эту энергию природой вещей, мы с необходимостью выходим из перцептуального

мира так же, как при замене пространства и времени пространством-временем.

Энергия, как и пространство-время, — преобразовательная ценность. Мы отбираем процесс в манипуляторной области — количество сделанной работы — как меру энергии; но то, что измеряется, не устанавливается как функция массы тела; напротив, сама масса устанавливается в терминах энергии. Таким образом, когда мы сводим физические вещи либо к пространству-времени, либо к энергии, мы в обоих случаях используем процесс измерения в перцептуальной, манипуляторной области для того, чтобы дать природу физической вещи, в то время как природа, приписанная таким образом физической вещи, не принадлежит к области измерения. В одном случае вместо вещи мы устанавливаем событие, локализованное в пространстве-времени, лежащем вне опыта; в другом мы обращаемся, как в воззрении Оствальда, к метафизическому полю, столь же далекому от опыта.

Сведение массы к электромагнетизму дало бы нам еще одну иллюстрацию, ведь электромагнетизм и свет возвращаются таким образом к одному и тому же процессу, а именно тому, который связывает организм с удаленными объектами. Если бы массу можно было установить в терминах электромагнетизма, то мы заменили бы манипуляторную ценность объекта его дистанционной ценностью. То, что она должна быть так установлена, предполагает, однако, что мы используем волновую, а не корпускулярную формулировку электромагнетизма и что у нас нет побуждения ввести корпускулярное понятие «фотон» в теорию света.

Это подводит нас к программе профессора Бриджмена, в которой все наши физические понятия жестко сводятся к операциям, применяемым нами в измерениях¹. Суть его предложения, видимо, в том, чтобы по-

¹ *Bridgman P.W. The Logic of Modern Physics. N.Y.: The Macmillan Company, 1928. Ch. 1.*

пытаться вернуть объект в манипуляторную область, но не истолковывать физическую вещь как объем движущейся массы, а переопределить физическую вещь манипуляторной области в терминах ее использования в научном измерении. Простая Ньютонова доктрина интерпретировала свет и тепло Солнца как свидетельство молекул массивных элементов, находящихся в интенсивном движении; но теперь эти элементы стали частицами электричества, которые можно определить всецело в терминах электромагнетизма, а это означает, что мы можем определить их только через математические формулировки, константами в которых являются определенные показания приборов. Эти математические формулировки фиксируют, насколько возможно точно, условия, при которых мы можем получить эти показания приборов. Так мы получаем картину не движений манипуляторных вещей, которые в сфере наших наблюдений являются условиями наших дистанционных опытов, а идеальных условий управления манипуляторными ситуациями, в которых эти дистанционные опыты могут быть воспроизведены. Если представить солнце состоящим из электронов и протонов, то мы можем представить в воображаемой манипуляторной области движения этих частиц, с их расстояниями друг от друга и их скоростями. Мы можем представить электрон и протон оказывающими друг на друга давление и удерживаемыми врозь центробежной силой той невероятной скорости, с которой электрон вращается вокруг протона. Но если мы пойдем дальше и изобразим электрон и протон сдавленными вместе в центре солнца и высвобождающими, тем самым, в форме излучения электромагнитную энергию, в том числе энергию массы, являющейся «что́ это» этих электрических частиц, то мы преобразуем наполнение, или манипуляторное содержание вещи в дистанционный опыт. Неуничтожимость Ньютоновой массы отражала нашу фундаментальную установку, что то, чем мы овладеваем, есть перманентная реальность того, что мы видим,

слышим и иным образом ощущаем на расстоянии. Если эта перманентная реальность растворяется в излучении, и оно приходит к нам, скажем, в виде тепла и света или в форме космических лучей, то это уже не дистанционное переживание *чего бы то ни было*. То же касается и силовых полей. Можно сказать, что они события, но нет вещей, с которыми эти события происходят в том месте, где они находятся.

Я не призываю гоняться за удовольствиями того, что Уайтхед назвал материализмом ньютоновского периода. Это воззрение было заражено той бифуркацией, на которую сетовал Уайтхед, и скрывало в себе целое гнездо эпистемологических проблем, которое скрупулезно развернул перед нами Лавджой². Я лишь настаиваю на том, что какой бы мы ни приняли взгляд на важные изменения, принесенные наукой с тех пор, как в ее исследованиях и доктрине восторжествовал электромагнетизм, мы не можем уйти от перцептуальных открытий, которые всякая наука принимает в качестве своего основополагающего критерия реальности. Обращение науки к своим перцептуальным открытиям как к своему критерию явно означает больше, чем просто подтверждение дистанционного опыта контактным опытом; тут обращение происходит скорее к перцептуальному проявлению событий, предсказанных на основе гипотезы, с целью подтверждения этой гипотезы. Важность перцептуально реальной вещи манипуляторной области проявляет себя тогда, когда объект этого рода может быть идентифицирован при наблюдении и эксперименте в исключительном случае; возьмем для примера излучение абсолютно черных тел, где реальность объекта как перцептуальной вещи должна быть принята до всякой его интерпретации, которую может дать позднейшая гипотеза. Здесь мы доходим до чего-то такого, что сохраняется в качестве объекта, который может быть осязательно воспринят таким же,

² *Lovejoy A. The Revolt against Dualism. Chicago: Open Court Publishing Co., 1930. Passim.*

каким видится. Кроме того, очевидно, что надежность измерений — показаний приборов — должна удостоверяться в том же самом перцептуальном поле. Даже если мы не можем ни расширить пространство и время этой области в Евклидово пространство Ньютоновой доктрины, ни подразделить ее перцептуальные вещи на Ньютоновы частицы массы, мы все же каким-то образом связываем полагаемую реальность мира, выходящего за границы нашего перцептуального опыта, с решающей реальностью открытий ученого.

Даже если мы сводим наши физические понятия к операциональным процессам, мы должны признать, что наши физические вещи принадлежат к области нашего контроля — к области измерения изменений в нашем опыте. Каузальные antecedенты этих изменений не могут быть больше установлены в терминах физических вещей, в том смысле, чтобы они были представимо постоянными контактными опытами, соотношенными с дистанционными опытами; но наши релевантные измерения должны происходить все же при помощи физических вещей. Каузальный antecedent, например, может быть как физическим, так и ментальным. Это может быть событие, к которому прилагаются свойства, поставляемые вторжением из мира вечных объектов, или универсалий. Или его выражением может быть сложный математический аппарат для осуществления точных измерений в области эксперимента и наблюдения, как в «Логике физических наук» Бриджмена*. Или, опять же, это может быть логический паттерн, соответствующий некоторой структуре в метафизическом мире вне опыта — абсолютном мире пространства-времени, чьи совпадения событий и интервалы между ними не могут проявиться в наших относительных пространствах и временах. Но ни в одном из случаев природа этих элементов субатомного, электромагнитного мира не может занять место

* У Мида неточность; речь идет о книге «Логика современной физики» (1927). — *Примеч. пер.*

физических массовых частиц Ньютоновой доктрины, которые можно представить как подразделения массивных объектов, попадающих к нам в руки.

Упадок системы механики Ньютона наступил тогда, когда с развитием законов термодинамики и теории электромагнетизма тот смысл физических вещей, который согласуется с нашим перцептуальным опытом, нельзя было больше приложить к так называемому материальному универсуму. Теперь мы находим проявление точно определенных дистанционных опытов, и они соответствуют чему-то происходящему, но чему-то такому, что нельзя установить в терминах изменений среди манипуляторных вещей. По сути дела, в своих физических гипотезах мы постулируем теперь как внутреннюю природу вещей, к которым отсылают прежние дистанционные опыты, другие дистанционные опыты, такие, как энергии или излучения. В то же время, описывая давление газов, мы рисуем самим себе картину массовых частиц, бомбардирующих друг друга и стенки сосуда. Здесь конечные элементы — физические вещи, мыслимые в перцептуальных терминах. Но когда мы говорим о содержимом электронов и протонов как об энергии, которая может принимать форму излучения, мы описываем их через другой дистанционный опыт — к тому же такой, который может не отсылать ни к какому мыслимому контактному опыту. Однако мы не можем просто собрать под одну гребенку весь перцептуальный опыт, утверждая при этом, что имеем дело скорее с концептуальными объектами науки, коль скоро и наши проблемы, и наши наблюдения, и эксперименты формулируются в перцептуальном опыте.

У этого вопроса есть две стороны. Думаю, мы должны признать вот что: дистанционный опыт предполагает и должен предполагать, что то, что происходит *там* (there), было бы ответственно за контактные опыты, если бы организм мог быть в том месте, где происходит процесс, ответственный за дистанционный опыт, и был

оснащен соответствующей восприимчивостью. Другая сторона вопроса: почему мы устанавливаем природу объекта не в этих терминах, а в терминах дистанционного опыта? Основанием для этого, как я полагаю, служит то, что ученый ищет постоянное, что он находит его в единообразиях процессов, что он определяет свои объекты в терминах этих единообразий и что, следовательно, именно это имеется в виду, когда он говорит о концептуальных объектах. Видимо, ученый вышел таким образом за пределы перцептуального поля. Видимо, он больше не имеет дело ни с дистанционным, ни с контактным опытом, а скорее занят организованной системой изменений, которая в перцептуальном опыте может отражаться в любой из этих категорий, но на самом деле совершенно независима от такого опыта. Тем самым открывается дверь для репрезентативной теории восприятия. Перцептуальное содержание объекта начинает определяться в терминах чувственных данных, которые соотносятся с научными объектами, но имеют свой истинный локус в сознании либо лежат где-то между разумом и природой.

Есть две причины для того, чтобы ученый не пользовался этой сферой сознания — ни со стороны сознания, ни со стороны чувственных данных. Первая состоит в том, что мир, находящийся вне присутствия (*out there*) в его наблюдениях и экспериментах, есть мир реальности. Нельзя провести никакую удовлетворительную границу, которая оставила бы то, что для него реально, по одну сторону, а чувственные данные — по другую. Этот факт становится особенно очевидным при рассмотрении того, что мы называем *значениями* вещей. Они неразрывно сплетены с тем, что должно быть названо сознанием; вместе с тем эти значения — самая суть научных объектов. Другая причина состоит в том, что так называемое сознание оказалось ныне втянуто в круг интересов биологической науки. Разум больше не может помещаться вне природы.

Пока атом не был разложен на электрические частицы и ученый мог чувствовать себя как дома в мире

Ньютоновой механики, ученый мог смотреть телескопическим глазом Дюбуа-Реймона и прозревать массы вещей вплоть до конечных частиц, движения которых подчинялись относительно простым законам. Связка научных объектов с перцептуальными объектами была достаточно тесной, чтобы он полагал, что его наблюдения и опыты находятся в том же мире, что и объекты его науки. Правда, так называемые чувственные качества, будь то первичные или вторичные, не могли быть действительными характеристиками объекта; тем не менее согласованность между Евклидовым пространством науки и пространством восприятия была достаточной, а корреляция веса с массой — настолько полной, что разбиение материи чувственного восприятия в воображении оставалось параллелью физического анализа. Ученый, поскольку он рассматривал материю, конечно, был вынужден располагать все вторичные качества в сознании, так как механическое мироздание состояло просто из движущихся частиц массы и эфирных волн. Цвету, звуку, вкусу, запаху и температуре в физическом мире соответствовали типы движения. Будь ученый последователен, ему пришлось бы и сопротивления вещей тоже отнести к сознанию; но на самом деле ничто ему не мешало выстраивать механические модели массовых частиц в своем перцептуальном воображении того, что происходит в природе. Лорд Кельвин — прекрасный пример ученого этого периода, который пошел на уступки термодинамике и электромагнетизму, но еще стремился сохранить в вихрях и ударах эфира ту механическую картину анатомии мироздания, в которой могло чувствовать себя как дома перцептуальное воображение. Капли масла Милликена, фотографии бомбардировки атомов α -частицами Резерфорда и модели атома Бора, казалось, связали галактики субмикроскопического мира с галактиками звездного пространства. Пока давящие и сопротивляющиеся вещи с поддающимися вычислению скоростями можно было разместить в

пространстве, научное воображение не покидало мир перцепции.

Все это изменила относительность. В геометрии пространства-времени Минковского перцептуальное движение пропадает. Эфир исчез, и на место физических вещей приходят события. Время вобралось в пространство, и разум с его пространственной рамкой соотношения отправляется в это пространство-время, искривление которого соответствует гравитационной константе. В итоге, весь мир перцепции и перцептуального воображения переносится в перспективы, показывающие лишь логическое соотношение между паттернами, подверженными воздействию формул преобразования, и событиями в четырехмерном пространстве-времени и интервалами между ними. По определению и события, и интервалы здесь лежат вне всякого опыта. Мы приходим к ним путем референции в познавательном процессе к чему-то, находящемуся за его пределами, и с помощью теории вероятности. В наших математических формулировках научного опыта мы наткнулись на шифр, который, похоже, отсылает к недоступным опыту сущностям и их взаимным отношениям; и эта гипостазированная структура логических сущностей удовлетворяет наше желание абсолютной реальности, к которой наш признаваемо относительный опыт будет реферировать.

И все же, как бы далеко ни заходила процедура учебного, она никогда не доходит ни до какой иной ситуации, кроме той, в которой происходит или может произойти преобразование. Если мы спрашиваем, что кроется за всеми этими преобразованиями, то мы спрашиваем о чем-то вне нашего опыта, будь то действительного или воображаемого. Например, мы постулируем стадии развития мироздания, предшествующие всякому возможному человеческому опыту, но в воображении они разворачиваются перед внутренним глазом или, по крайней мере, перед разумом. Если исключить воображение, то мы имеем абстракции символического анализа, имеющие тот же логический ха-

рактически, что и формулы преобразования, о которых я говорил. Если я говорю, что это цвет, и держу этот цвет в его универсальности перед моим разумом, то я выделяю то, что позволяет мне свести любой другой визуальный опыт к наличному опыту, насколько он занят визуальными качествами вещей, в отличие от слуховых или чувственных. Есть общий способ действия по отношению ко всем качествам, существующим для глаза, так же как есть и другой способ действия по отношению к качествам, существующим для уха; и выделение этой типичной реакции позволяет мне «преобразовать» мое поведение по отношению к красному в поведение по отношению к синему, насколько я способен реагировать на цвет одной реакцией, а на звук — другой.

Мы обозначаем как «ментальное» именно эту установку выделения общих черт, вызывающих идентичные реакции при условии, что у нас есть символы, посредством которых мы к ним реферируем. Установление мира сущностей, универсалий, или вечных объектов, в котором эти сущности имеют бытие или существование, параллельно процедуре установления пространства-времени Минковского или четырехмерного агрегата событий. Предполагается, что объекты, движущиеся относительно нас, имеют иные пространственные, временные и массовые значения, нежели покоящиеся объекты; и если нам надо измерить их так, как мы измеряем окружающие нас покоящиеся объекты, то мы должны выделить общую черту — а именно, реляционную характеристику пространства и времени, общую для этих двух ситуаций покоя и движения. Выражение этой общей черты в формулах преобразования, которые разработали Лармор и Лоренц с целью придать инвариантность уравнениям Максвелла, несет с собой наиболее интересные импликации, особенно в отношении постоянной скорости света; но оно не меняет того факта, что происходящее здесь есть измерение в одной ситуации чего-то, чьи измеряемые

характеристики отчасти зависят от того, что оно находится и в другой ситуации. Оно не несет с собой необходимости установления сферы пространства-времени. Постулирование такой сферы покоится на допущении, что поскольку с одним и тем же объектом можно иметь дело и как с покоящимся, и как с движущимся, то, стало быть, на него в каждой ситуации должна одинаковым образом воздействовать временная координата. Это допущение, следовательно, устраняет движение и заменяет его геометрической детерминацией в четырехмерном царстве, выходящем за рамки всякого возможного опыта.

Все возвращается к этому; для перцептуального факта движения существенно разделение пространства и времени. Должно быть безвременное пространство, в котором происходит движение. Но безвременное пространство различается в зависимости от того, находится ли индивид, или «воспринимающее событие», в движении или покое. Если, как в случае поезда, мы переносим себя из пространства купе внутри поезда в пространство ландшафта, то в движении будет находиться пространство купе внутри поезда, а это пространство, если его измерить, будет измеряться в единицах, отличных от единиц пространства ландшафта. То же касается и времен. С учетом реляционного характера пространства и времени, их структурные характеристики будут различаться сообразно тому, что можно назвать временной перспективой индивида. И, как настаивает Уайтхед, эти различия принадлежат природе. Они не субъективны. Но ученому вполне достаточно преобразования из одной ситуации в другую. Принимает ли он геометрию пространства-времени или не принимает, его операция занята только преобразованием и не требует от него допущения трансцендентного пространства-времени. Цель физика — инвариантный набор уравнений, формулирующих условия, при которых мы можем контролировать свое физическое поведение. Чтобы

достичь инвариантности для уравнений Максвелла и истолковать эксперимент Майкельсона — Морли, потребовалось разработать преобразования из одной временной перспективы в другую. Возможность успешных формул преобразования предполагает числовые утверждения, идентичные для всех различающихся перспектив. Их можно выразить в терминах пересечений событий и интервалов между ними в абсолютном пространстве-времени; но в преобразованиях физика такая формулировка не используется. Всякий раз физик остается в перцептуальном мире, преобразуя, насколько необходимо, одну перцептуальную перспективу в другую. И когда мы переходим от специального к общему принципу относительности, ситуация не меняется. В случае применения специальной теории координаты имеют непосредственную физическую значимость, обозначая меры, выраженные в терминах стандартных измерительных реек и часов, тогда как в общей теории числа отсылают к континууму, лежащему, как мы видели, вне всякого возможного опыта. Константы, следовательно, остаются просто числами, через которые естественные законы могут быть выражены так, что они будут оставаться в силе в любой рамке соотнесения, поле гравитационной силы можно будет заменить преобразованием осей систем координат и, в целом, метрические свойства пространства будут полностью определяться массами тел. Гений Эйнштейна развил, опираясь на эти принципы, физическую теорию, не только доводящую до логического завершения относительность пространства и времени, но и дающую более совершенную и точную формулировку физических процессов — к тому же такую, которая выдержала проверку наблюдением и экспериментом в тех пунктах, в которых она поддавалась проверке. В специальной теории мы формулируем измеряемые ценности — в разных системах координат — для одной перцептуальной перспективы через другую перцептуальную перспективу, т.е. имеем дело

с локальными временами и локальными измерительными рейками. Числа имеют физическую значимость. В общей теории мы получаем ковариантные уравнения, т.е. не производим преобразований из одной системы координат в другую, а получаем выражения, имеющие силу для всех возможных систем координат. Числа явно не могут выразить меры времени и пространства в разных системах координат как отдельные друг от друга. Они возникают из возможности преобразования из одной возможной системы в любую другую возможную систему. Они достигаются с помощью геометрии четырехмерного Риманова многообразия и тензорной математики. Последние дают математический аппарат для измерения интервалов в континууме, как бы тот ни был деформирован (в этом случае в континууме пространства-времени), и задают форму, которую должны принимать уравнения, выражающие естественные законы, чтобы оставаться в силе для каждой системы координат.

Это как если бы мы приняли формулу, с помощью которой преобразовывали бы ценность доллара на 1913 г. в его ценность на 1930 г. и в его ценность на любую другую возможную дату в человеческой истории, и перешли от констант питания, одежды и т.п. и того, на что они будут обмениваться, к обобщенной экономической области, в которой расстояния между обмениваемыми благами, которыми мы владеем, и благами, которые нам нужны, можно выразить в некоторой формуле, пригодной для любой возможной ситуации. Если бы мы установили такой мир детерминированных интервалов между абстрактными ценностями и если бы в нашей попытке дать нашим экономическим законам формулировку, которую они принимали бы в любой возможной ситуации, мы установили ценности в терминах их редкости, т.е. в терминах интервалов, — если бы мы преуспели в этом деле, то смогли бы помыслить этот абстрактный экономический мир как мир реальной оценки, относительно которого пережи-

ваемые нами экономические ситуации были бы субъективными отражениями. Так, ортодоксальная школа экономики в каком-то смысле сводила все ценности к труду, необходимому для их производства, т.е. к экономическому интервалу между сырьем и конечным продуктом, и пыталась отыскать в экономическом процессе более точные законы обмена, которые обладали бы универсальной применимостью во всех экономических ситуациях. Австрийская школа, между тем, показала нам уникальный характер нужды, кроющейся за этим оцениванием, который, следовательно, не мог быть растворен в абстрактных формулах обмена.

Я не хочу заводить слишком далеко несколько натянутую аналогию; но она может помочь прояснить ошибку референции, общую для обоих случаев. Константы, фигурирующие в формулах обмена или преобразования, отсылают не к сущностям, которые могут быть определены через символы обмена или преобразования, а к таким единообразиям в этих процессах, которые позволяют нам дать им самое широкое обобщение. Рискну сказать, что успешное развитие теории общей относительности, с ее кажущейся отсылкой за пределы опыта, обусловлено могуществом ее математического аппарата, который воспользовался концепцией «поля», взятой из теории электромагнетизма и перенесенной в теорию гравитации. Генерализация, принадлежащая Римановой геометрии, Гауссовы координаты и тензорная математика, прикладываясь к полю физики, вводят новую сущность лишь постольку, поскольку их применение предполагает четырехмерное многообразие, в котором время — одно из измерений. Поглощение времени пространством, как мы видели, лишает реальность характера новизны, неотъемлемо присущего изменению. Оно низводит изменение, в том числе движение, до субъективного опыта и ставит на его место геометрию пространства-времени, в котором неумолимо прочерчено каждое событие. В Ньютоновой механике, учитывая такие

единообразия природы, как закон гравитации, была заключена схожая детерминация физических событий; но эта детерминация не вытекала из формальных характеристик, в которых течение времени могло быть приравнено к пространственной протяженности или в которых пространственные и временные протяженности сливались воедино как предзаданные числа в детерминации интервала. Пространство, будь то Евклидово или неевклидово, было необходимым каркасом, в котором должно происходить изменение, и происшедшие изменения можно было пространственно картографировать и геометрически описать; но ничто из этой необходимости не переходит в причины движения. Ум мог быть всецело поглощен верой в то, что законы изменения так же неумолимы, как и структурные характеристики пространства; но это была вера, покоящаяся в лучшем случае на индукции, которая никогда не могла выйти за пределы презумпции. Изменение всегда могло предположительно быть иным, чем оно есть. Геометрическая структура и то, что из нее вытекает, никогда не могут быть помыслены иными, чем они есть. Следовательно, пока природа предстает в опыте с открываемыми нами грубыми константами, которые меняются при нашем дальнейшем исследовании, референция таких формул, как формулы генерализованной относительности, всегда будет референцией к ситуации, которую можно помыслить иной, чем она есть. Они никогда не могут исчезнуть в нашем мышлении о мире, растворившись в геометрии пространства-времени. Например, всегда можно будет предположить, что константа гравитации окажется несводимой к искривлениям пространства-времени. Я возвращаюсь к сделанному раньше утверждению, что референция общей относительности, как и референция специальной относительности, — это референция к полю опыта, в котором располагаются научные проблемы, наблюдения и эксперименты.

IV. Объективная реальность перспектив¹

Величественная попытка Абсолютного Идеализма перенести всю реальность в опыт провалилась. Она провалилась потому, что оставила перспективу конечного эго безнадежно зараженной субъективностью и, как следствие, нереальной. С точки зрения Абсолютного Идеализма теоретическая и практическая жизнь индивида не играла никакой роли в творческом развитии природы. Он потерпел неудачу еще и потому, что научный метод с его достижениями в области открытий и изобретений не смог найти в его диалектике должной формулировки. Абсолютный Идеализм признал две главенствующие силы современной жизни, творческого индивида и созидающую науку, но лишь для того, чтобы отвергнуть их как искажения опыта абсолютного эго. Осталась невыполненной задача возвращения природе того характера и тех качеств, которые метафизика разума и наука о материи и движении сообщали относили к сознанию; разуму так и не было найдено такое место в природе, чтобы последняя могла проявиться в опыте. Конструктивное переопределение проблемы было предложено физиологической и экспериментальной психологией, неразрывно связавшей разум с органической природой, признаваемой как наукой, так и философией. Дивиденд, которого потребовала от этого переопределения философия, отражен в резонном вопросе Уильяма Джеймса: «Существует ли сознание?» Метафизическая атака на дуализм разума и природы, становившийся с каждым днем все несноснее, проводилась на регулярной основе эволюционной

¹ Перепечатано с разрешения из «Ученых записок» VI Международного философского конгресса (Proceeding of the Sixth International Congress of Philosophy: Harvard University. September 13–17 1926. Cambridge, MA; N.Y.: Longmans, Green and Co., 1927).

философией Бергсона, неоидализмом, неореализмом и прагматизмом. И никто пока не может сказать, что эта попытка имела успешное завершение.

Я хочу обратить внимание на два не связанных друг с другом движения, которые, как мне кажется, приближаются к очень важной стратегической позиции, которую можно назвать объективностью перспектив. Речь идет, во-первых, о той фазе бихевиористской психологии, которая так же плотно укореняет коммуникацию, мышление и сущностные значения в природе, как биологическая психология разместила в ней общий животный и человеческий интеллект, и, во-вторых, о том аспекте философии релятивизма, который представил профессор Уайтхед.

Профессор Уайтхед интерпретирует относительность в терминах событий, происходящих в четырехмерном мире Минковского. Порядок, в котором они происходят, однако, соотносится с согласованным множеством. Последнее определяется своей связью с воспринимающим событием, или организмом. Воспринимающее событие устанавливает устойчивый характер *здесь и там, сейчас и тогда* и само является устойчивым паттерном. Паттерн повторяется в протекании событий. Эти повторяющиеся паттерны схватываются, или стягиваются в единство, которое должно иметь такую временную протяженность, которая требуется организму для того, чтобы быть тем, что он есть, обнаруживаем ли мы этот период во вращениях электронов в атоме железа или в мнимом настоящем человека. Такое воспринимающее событие, или организм, устанавливает согласованное множество паттернов событий, которые удерживаются в отношениях *здесь и там, сейчас и тогда* на протяжении таких периодов или целых эпох, конституируя тем самым куски природы и дифференцируя пространство от времени. Таким образом, эта перспектива организма присутствует в природе. То, что не сохраняет в перспективе устойчивый характер *здесь и там*, находится в движении. С точки зрения какого-то другого организма эти движущиеся объекты

могут пребывать в покое, а то, что здесь пребывает в покое, будет во временной системе другой перспективы пребывать в движении. Как выражается профессор Уайтхед, поскольку природа терпит организм, она расслаивается на перспективы, пересечения которых конституируют творческое развитие природы. Профессор Уайтхед с полным успехом представил физическую теорию относительности в терминах пересекающихся временных систем.

Что мне хотелось бы взять из философии природы профессора Уайтхеда, так это концепцию природы как организации присутствующих в ней перспектив. Концепция перспектив как присутствующих в природе является в каком-то смысле неожиданным подарком философии со стороны наиболее трудной для понимания физической науки. Это не искаженные перспективы каких-то идеальных паттернов; не заключены они и в сознании как выборки из вещей, реальность коих обнаруживается в ноуменальном мире. В своей взаимосвязи они составляют природу, которая известна науке. Биология работала с этими перспективами в терминах форм и их сред, а в экологии рассматривает их как организацию сред, отказавшись от мира физических частиц в абсолютном пространстве и времени, присутствующего независимо от какой-либо среды организма и какой бы то ни было перспективы. Профессор Уайтхед обобщает концепцию организма, включая сюда любую единую структуру, природа которой требует некоего периода, когда она могла бы быть самой собой, и которая, следовательно, является не только пространственной, но и временной структурой, или процессом. Любая такая структура расслаивает природу, в зависимости от того, как та входит в ее перспективу, и отличает свое постоянное пространство и время от общего протекания событий. Таким образом, мир физических наук уносится в область органических сред, и уже нет мира независимых физических сущностей, а есть перспективы, являющиеся всего лишь выборками из него. Вместо такого мира

появляется множество перспектив в их взаимосвязи друг с другом.

Я не хочу рассматривать ни развитую профессором Уайтхедом бергсоновскую версию субстанции Спинозы, которая индивидуализирует себя в структуре событий, ни его платоновские небеса вечных объектов, где располагаются иерархии паттернов, присутствующих там как возможности и вторгающихся в события, а обращаюсь скорее к его лейбницовским истокам, явленным в его концепции перспективы как отражения в событии всех других событий. Лейбниц поставил в центр своей философии природы психический процесс. Содержанием его монад были психические состояния, перцепции и *petites perceptions*, неизбежно представлявшие остальную реальность мироздания, будучи всего лишь частично развитыми ее выражениями. Представляемое содержание всех монад было идентичным в той мере, в какой оно было ясным и отчетливым, так что организация этих перспектив была предустановленной гармонией в идентичности рационального содержания. Принцип организации перспектив профессора Уайтхеда — не представление идентичного содержания, а пересечение единого корпуса событий разными временными системами. Представление одной и той же совокупности событий как организованной в бесконечное число разных перспектив делают возможным, конечно, две вещи: во-первых, отказ от простого местоположения как принципа физического существования, т.е. от того, что существование физического объекта обнаруживается в занятии им некоторого объема в абсолютном пространстве в какой-то момент абсолютного времени, и, во-вторых, принятие всерьез времени, т.е. признание того, что есть бесконечное число возможных одновременно любых события с другими событиями и, следовательно, бесконечное число возможных временных порядков одних и тех же событий.

Не берясь обсуждать выдвинутую профессором Уайтхедом доктрину схватывания в единстве собы-

тия аспектов других событий, которую я не могу удовлетворительным образом выстроить из тех итоговых утверждений, которые я нашел в его работах, я хочу рассмотреть концепцию корпуса событий как организации перспектив этих событий с точки зрения поля социальной науки и бихевиористской психологии.

Во-первых, это, видимо, как раз и составляет предмет любой социальной науки. Человеческий опыт, которым занимается социальная наука, — это в первую очередь опыт индивидов. Лишь в той мере, в какой события, условия среды, ценности, их единообразия и законы входят в опыт индивидов как индивидов, они становятся для этих наук предметом рассмотрения. Например, условия среды существуют лишь в той мере, в какой они затрагивают действительных индивидов, и лишь поскольку они их затрагивают. Законы этих событий — всего лишь статистические единообразия этих событий для *A*, *B*, *C* и *D* и в их опытах. Более того, значение этих событий и ценностей должно быть найдено в опытах этих индивидов, и только тогда они будут для этих наук существовать.

Во-вторых, лишь постольку, поскольку индивид действует не только в собственной перспективе, но и в перспективах других, особенно в общей перспективе группы, возникает общество и дела этого общества становятся объектами научного исследования. Ограниченность социальной организации обнаруживается в неспособности индивидов поместить себя в перспективы других, принять их точки зрения. Я не хочу здесь вдаваться в подробности, поскольку это общее место, но предположу, что здесь мы находим действительную организацию перспектив, и принцип ее вполне очевиден. Этот принцип заключается в том, что индивид входит в перспективы других в той мере, в какой он способен принять их установки, или занять их точки зрения.

Но хотя этот принцип и тривиален для социального поведения, его следствия будут очень серьезны, если принять объективность перспектив и признать, что

эти перспективы образуются из других Я, обладающих разумом, и что здесь нет природы, которая может быть закрытой для разума. Социальная перспектива существует в опыте индивида в той мере, в какой он доступен пониманию, и именно его доступность понимания служит условием вхождения индивида в перспективы других, особенно группы. В поле любой социальной науки объективными данными являются те опыты индивидов, в которых они принимают установку сообщества, т.е. входят в перспективы других членов сообщества. Разумеется, социальный ученый может обобщать с точки зрения своего мира дискурса то, что в опытах другого сообщества остается безнадежно субъективным, подобно тому, как психолог может истолковывать то, что остается для индивида непостижимым чувством. Я говорю здесь не с точки зрения эпистемолога или метафизика. Я просто спрашиваю, что объективно для социального ученого, каков предмет его науки, и хотел бы отметить, что критически мыслящий ученый всего лишь замещает более узкие социальные перспективы других сообществ перспективой более высокоорганизованного и, как следствие, более универсального сообщества.

Было бы поучительно заметить, что никогда характер этой общей перспективы не менялся так быстро, как с момента обретения нами более полного контроля над техникой, с помощью которой индивидуальные перспективы становятся перспективой наиболее универсального сообщества — сообщества мыслящих людей, — а именно, над техникой экспериментального метода. Нас вводит в заблуждение та легкость, с которой мы можем при помощи того, что можно назвать формулами преобразования, перевести опыт других сообществ в опыт нашего сообщества, придав окончательность перспективе собственного мышления; но достаточно взгляда на ошеломляющую быстроту, с которой сменяли друг друга разные истории, т.е. разные прошлые, и возникали новые физические миры, чтобы убедиться, что ни одно поколение еще не испытывало

такой неуверенности относительно общей перспективы последующего. Еще никогда не было такой неясности относительно того, что представляют собой ценности, которые пытается определить экономика, каковы политические права и обязанности граждан, каковы для сообщества ценности дружбы, страсти, родительства, досуга, красоты, социальной солидарности в бесчисленных ее формах или те ценности, которые собраны под общей рубрикой связей человека с высшим сообществом или Богом. С другой стороны, никогда еще не было времени, когда люди могли так уверенно определять условия сохранения ценностей, какими бы они ни были. В терминах общих условий, благодаря формулам преобразования мы можем переходить от одной области ценностей к другой и тем самым приближаться к выяснению того, какая из ценностей ценнее, или, скорее, как каждую сохранить. Общая перспектива здесь — понятность, а понятность есть установление в терминах общих социальных условий.

Важна связь индивидуальной перспективы с общей перспективой. Для биолога есть общая среда муравейника или пчелиного улья, которая делается возможной благодаря сложным социальным связям среди муравьев и пчел. Совершенно невероятно, чтобы эта перспектива существовала в перспективах индивидуальных муравьев или пчел, поскольку свидетельств коммуникации между ними нет. Коммуникация — это социальный процесс, естественная история которого показывает, что он возникает из совместной деятельности, какая присутствует, например, в сексе, родителстве, сражении, выпасе скота и т.д., т.е. там, где какая-то фаза акта одной формы, которую можно назвать жестом, выступает для других стимулом к исполнению их частей социального акта. Этот процесс не становится коммуникацией в полном смысле, т.е. стимул не становится значащим символом, до тех пор, пока жест не начинает вызывать в выполняющем его индивиде ту же реакцию, которую он вызывает в других. История развития языка показывает, что на ран-

них ее этапах голосовой жест, адресованный другому, пробуждает в выполняющем его индивиде не просто тенденцию к реакции, которую этот жест вызывает в другом, например, к хватанию оружия или избеганию опасности, но прежде всего ту социальную роль, которую играет другой в совместном акте. На это указывают ранний игровой период в развитии ребенка и богатство социальных импликаций языковых структур в речи примитивных народов.

В процессе коммуникации индивид оказывается другим прежде, чем самим собой. Его Я возникает в опыте тогда, когда он обращается к себе в роли другого. Развитие организованной игры (game) из простой игры (play) в опыте ребенка и организованных групповых деятельностей в человеческом обществе помещают индивида тем самым во множество ролей, поскольку они являются частями социального акта, и сама организация этих ролей в целостном акте дает им общий характер в индикации того, что надо делать. Следовательно, он способен стать обобщенным другим, обращаясь к себе в установке группы или сообщества. В этом случае он становится определенным Я, противостоящим социальному целому, которому он принадлежит. Это общая перспектива. Она существует в организмах всех членов сообщества, поскольку физиологическая дифференциация человеческих форм принадлежит по большей части к консумматорной фазе акта.

Внешняя фаза, в которой имеет место социальная организация, наполнена вещами: физическими вещами или инструментами. В обществах беспозвоночных, обладающих сложностью, сопоставимой со сложностью человеческих обществ, организация зависит по большей части от физиологической дифференциации. Очевидно, что в таком обществе нет фазы акта индивида, в которой он мог бы обнаружить себя принимающим установку другого. В организации человеческого общества физиологическая дифференциация, если не брать прямые связи на основе пола и родительства, не играет никакой роли. Механизм человеческого обще-

ства — это механизм телесных Я, которые помогают или мешают друг другу в совместных актах, манипулируя физическими вещами. В древнейших формах общества эти физические вещи трактуются как само-сти; т.е. социальные реакции, которые все мы можем различить у себя в отношении неодушевленных вещей, помогающих или мешающих нам, доминируют у примитивных народов, социальная организация которых опирается на пользование физическими орудиями. Примитивный человек поддерживает *en rapport* с орудиями и оружием путем разговора с ними в форме магических обрядов и церемоний. С другой стороны, телесные Я членов социальной группы так же очевидно инструментальны, как социальные инструменты. Социальные существа — настолько же определенно вещи, насколько физические вещи — социальные.

Ключ к генезису человеческого интеллекта обнаруживается в признании этих двух аспектов. Он возникает на ранних стадиях коммуникации, на которых организм вызывает в себе установку другого, обращаясь тем самым к самому себе и становясь объектом для самого себя, т.е. становясь Я; при этом тот же род содержания в акте, который конституирует другого, конституирует и Я. Из этого процесса возникает мышление, т.е. разговор с самим собой сначала в роли конкретного другого, а затем в роли обобщенного другого, как я показал выше. Важно признать, что Я не проецирует себя в другого. Другие и Я возникают в социальном акте вместе. Можно сказать, что содержание акта находится в организме, но проецируется оно в другого только в том смысле, в каком проецируется в Я. На этом факте держится весь психоанализ. Мы ущемляем себя, чтобы убедиться, что не спим, подобно тому, как схватываем объект, чтобы убедиться, что он есть. Другая фаза человеческого интеллекта — это то, что он занят физическими вещами. Физические вещи — вещи перцептуальные. Они тоже возникают в акте. Он инициируется отдаленным стимулом и ведет — через приближение или удаление — к контакту или уходу от

контакта. Результат акта явлен в консуммации, например в съедении, но в поведение человеческого животного вмешивается опосредующая стадия манипуляции. Рука придает физической, или перцептуальной, вещи форму. Перцептуальная вещь целиком присутствует в области манипулирования, где она одновременно видится и осязается и где обнаруживаются как обещание контакта, так и его осуществление, ведь характерной особенностью отдаленной стимуляции и инициируемого ею акта является то, что здесь уже возбуждены установки манипуляции, которые я буду называть конечными установками перцептуального акта, т.е. та готовность схватить, войти в действенный контакт, которая в каком-то смысле контролирует приближение к отдаленному стимулу. Именно в оперировании этими перцептуальными, или физическими, вещами, оказывающимися внутри физиологического акта на пороге консуммации, обнаруживается особый человеческий интеллект. Человек — инструментальное животное. Он опосредует консуммацию. Рука подносит пищу ко рту или младенца к груди, но в социальном акте это опосредование бесконечно усложняется, и возникает задача установления консуммации, или цели, в терминах средств. Для этого есть два условия: во-первых, торможение, имеющее место тогда, когда конфликтующие способы завершения акта держат под контролем выражение какого-то одного из способов, и, во-вторых, действие описанного мной социального механизма, с помощью которого индивид может индигировать другим и самому себе те перцептуальные вещи, которые могут быть схвачены, вовлечены в манипуляцию и скомбинированы. Именно в этом поле инструментальных вещей, схваченных с помощью значащих символов жеста, а не в поле физиологической дифференциации, развились хитросплетения человеческого общества. И, повторю прежний мой тезис, в этом поле Я являются инструментальными физическими вещами точно так же, как у примитивных народов физические вещи являются Я.

Мое предположение состояло в том, что в обществе и социальном опыте, если интерпретировать их в терминах бихевиористской психологии, мы находим случай той организации перспектив, которая, как минимум для меня, является самой неясной частью философии профессора Уайтхеда. В его объективной формулировке относительности существование движения в протекании событий зависит не от того, что происходит в абсолютном пространстве и времени, а от связи некоего согласованного множества с воспринимающим событием. Такая связь расслаивает природу. Эти расслоения не только присутствуют в самой природе, но и являются единственными присутствующими в природе формами. Эта зависимость природы от воспринимающего события не является отражением природы в сознании. Постоянные пространства и времена, являющиеся последовательностями этих слоев, движения и покоя, присутствуют, но присутствуют только в своей связи с воспринимающими событиями, или организмами. Мы можем, следовательно, пойти дальше и сказать, что чувственные качества природы присутствуют в природе, но присутствуют в их связи с животными организмами. Мы можем перейти далее к другим ценностям, которые считались зависимыми от страсти, оценки и чувства, и вернуть, таким образом, природе все, что дуалистическая доктрина относила к сознанию, поскольку пространственно-временная структура мира и движение, которыми занимается точная физическая наука, обнаруживаются существующими в природе только в их связи с воспринимающими событиями, или организмами.

Но покой и движение подразумевают друг друга не больше, чем объективность и субъективность. Есть перспективы, которые перестают быть объективными, — например, Птолемеев порядок, поскольку он не отбирает согласованные множества с правильными динамическими осями, — и есть перспективы зазеркалья и алкоголического мозга. Что произошло во всех этих случаях, от наиболее универсального до наиболее кон-

кретного, так это то, что отвергнутая перспектива не согласуется с той общей перспективой, занимающим которую оказывается индивид как член сообщества умов, конститутивного для его Я. Это не случай капитуляции перед голосом большинства, а развитие иного Я через взаимодействие с другими и, следовательно, с самим собой.

Думаю, что этот процесс, в котором перспектива перестает быть объективной и становится, если угодно, субъективной и в котором возникают новые общие разумы и новые общие перспективы, есть случай организации перспектив в природе, творческого развития природы. Это значит утверждать, что разум, как он предстает в механизме социального поведения, есть организация перспектив в природе и по крайней мере фаза творческого развития природы. Природа в ее связи с организмом и вместе с организмом есть непосредственно наличная перспектива. Разумное состояние организма есть установление одновременности между организмом и группой событий через приостановку действия под влиянием торможения, описанного выше. Эта приостановка действия означает наличие в организме тенденций действовать конфликтующими способами в завершении целостного акта. Установка организма вызывает или имеет тенденцию вызывать реакции в других организмах, и те же реакции, в случае человеческого жеста, организм вызывает в самом себе, тем самым возбуждая себя к реагированию на эти реакции. Именно отождествление этих реакций с отдаленными стимулами устанавливает одновременность, и оно же дает внутренности (*insides*) отдаленным стимулам и Я организму. Без такого установления одновременности эти стимулы отдалены в пространстве и во времени от организма, и их реальность кроется в будущем перехода. Установление одновременности обращает эту будущую реальность в возможное настоящее, ведь все наши настоящие, находящиеся за пределами манипуляторной области, — лишь возможности с точки зрения перцептуальной реальности.

Мы действуем в направлении будущей реализации акта так, как если бы она была в настоящем, поскольку организм принимает роль другого. В перцептуальном неодушевленном объекте живучее органическое содержание — это сопротивление, которое организм осязаемо чувствует и оказывает в области манипулирования. Действительная пространственно-временная структура протекающих событий с теми качествами, которые соответствуют восприимчивостям организма, присутствует в природе, но они отдалены от организма в пространстве и времени. Реальность дожидается успешного завершения акта. Реальность настоящего — это возможность. Это то, что было бы, если бы мы были там, а не здесь. Благодаря социальному механизму значимых символов организм помещает себя *там* в качестве возможности, и она приобретает все большую вероятность по мере того, как организм встраивается в эту пространственно-временную структуру и в требования целостного сложного акта, частью которого является его поведение. Но эта возможность присутствует в природе, поскольку образуется из действительных структур событий и их содержаний, а также возможных реализаций актов в форме наладок и переналадок заключенных здесь процессов. Когда мы видим их как возможности, мы называем их мысленными или рабочими гипотезами.

Я утверждаю, что единственным случаем прегензии в опыте, который мы имеем, является вот это самое удержание вместе будущего и прошлого как возможностей — ибо все прошлые так же сущностно подвержены пересмотру, как и будущие, и, следовательно, являются лишь возможностями; а устойчивым общим содержанием является содержание, общее для организма и среды в этой перспективе. В организме это идентифицируется с удаленными в пространстве и во времени стимулами как возможно реальным настоящим, прошлым и будущим. Единство заключено в акте, или процессе; схватывание есть осуществление этого единства, когда процесс был сдержан посред-

ством конфликтующих тенденций; а условия и результаты этих тенденций рассматриваются как возможности в мнимом настоящем.

Итак, социальный и психологический процесс — это всего лишь случай того, что происходит в природе, если природа есть эволюция, т.е. если она движется посредством реконструкции в присутствии конфликтов и если, следовательно, в настоящем имеются возможности разных реконструкций как его прошлых, так и его будущих. Именно относительность времени, т.е. бесконечное число возможных порядков событий, вносит в природу возможность. Когда был всего один признанный порядок природы, возможность не могла располагаться нигде, кроме как в ментальных конструкциях будущего или не вполне известного прошлого. Но реальность удаленной в пространстве и времени ситуации лежит впереди, и любое ее существование в настоящем за пределами области манипулирования может быть лишь возможностью. Некоторые качества присутствуют, но что именно это за *вещи*, можно осознать только тогда, когда акты, вызванные этими дистанционными стимуляциями, завершены. То, чем они являются сейчас, представлено множеством возможных пространственно-временных структур. То, что эти будущие реализации проявляются в настоящем как возможности, обусловлено приостановкой акта организма и его способностью индцировать эти возможности.

То, что эти возможности имеют разные степени вероятности, обусловлено связью различных сдерживаемых тенденций в организме с целостным актом. Организацию этого целостного акта человеческий социальный организм может индцировать как другим, так и самому себе. Она обладает паттерном, определяющим другие *Я* и физические вещи, организм как *Я* и как вещь, а индцируемые значения обладают универсальностью всего сообщества, к которому организм принадлежит. Они конституируют универсум дискур-

са. Именно встраивание частных тенденций в более широкий паттерн целостного процесса конституирует вероятность существования вещей в настоящем, подразумеваемую любым отдельным актом. Полная реальность этих вещей все еще зависит от совершения акта, от экспериментальных свидетельств. Тогда такое совпадение перспективы индивидуального организма с паттерном целостного акта — в который она втянута настолько, что организм может в нем действовать, — конституирует объективность перспективы.

Паттерн всего социального акта может находиться в индивидуальном организме, потому что он осуществляется через инструментальные вещи, на которые любой организм может реагировать, и потому что индикации этих реакций другим и самому организму могут делаться с помощью значащих символов. Реконструкция паттерна может иметь место в организме и действительно происходит в так называемом сознательном процессе разума. Психологический процесс — случай творческого развития природы.

У живых форм, стоящих ниже человека, отдаленная перспектива может, благодаря восприимчивости, существовать в опыте формы, и схватывание ее в настройках поведения соответствует образованию слоев в природе, но реконструкция паттерна, внутри которого заключена жизнь организма, не попадает в опыт этого организма. В неодушевленных организмах поддержание временной структуры, т.е. процесса, все еще нарезает природу на слои и дает начало пространствам и временам, но ни они сами, ни сущности, которые их занимают, не входят как факты опыта в процессы организмов. Различение объективности и субъективности может возникнуть лишь тогда, когда паттерн большего процесса, внутри которого заключен процесс индивидуального организма, попадает в какой-то степени в опыт индивидуального организма, т.е. он принадлежит только опыту социального организма.

V. Генезис Я и социальный контроль¹

Очевидно, что изображение жизни каждого индивида в терминах результатов анализа того, что непосредственно переживается, дало бы общую плоскость событий, в которой опыт каждого отличался бы от опытов других только своей протяженностью и полнотой или неполнотой своих связей. В обобщенных формулировках социальных наук эти различия исчезают. Опыты тех же самых индивидов, поскольку каждый сталкивается с миром, в котором объекты являются планами действия, подразумевали бы для каждого разную последовательность событий. Простейший пример: два человека приближаются к проезжающему автомобилю. Для одного это движущийся объект, мимо которого он пройдет прежде, чем тот достигнет части улицы, являющейся местом скрещения их путей. Другой видит объект, который преодолет это место пересечения раньше, чем он сам до него доберется. Каждый нарезает мир с точки зрения своей временной системы. Объекты, сколько угодно тождественные для двух индивидов, все же фундаментально различны в силу их размещения в той или иной пространственно-временной плоскости, заключающей в себе некоторую последовательность событий. Стоит изъять временное измерение и вернуть все события в безвременное мгновение, как индивидуальность, принадлежащая этим объектам в поведении, сразу теряется, сохраняясь лишь в той мере, в какой они могут представлять результаты прошлого поведения. Но, принимая время всерьез, мы понимаем, что мнимо вневременной характер нашего пространственного мира и его постоянных объектов обусловлен согласованным множеством,

¹ Частичная перепечатка статьи. См.: International Journal of Ethics. 1925. Vol. 35. No. 3. April. P. 251–277.

которое каждый из нас отбирает. Мы изымаем время из этого пространства для целей нашего поведения. Некоторые объекты перестают быть событиями, перестают протекать, как они протекают в реальности, и становятся в своем постоянстве условиями нашего действия, а события происходят уже в соотношении с ними. Оттого что все сообщество отбирает одно и то же согласованное множество, этот отбор не становится в меньшей мере установкой каждого из его членов. Жизненный процесс протекает в индивидуальных организмах, и так психология, изучающая этот процесс в его творческой детерминирующей функции, становится наукой об объективном мире.

С точки зрения эволюционной истории возникали не только новые формы с их разными пространственно-временными средами и их объектами, но и новые качества, соответствующие разным восприимчивостям и способностям к реакции. Александр говорит об обогащении разными качествами. Приписать эти качества сред обитания сознанию форм так же невозможно, как и пространственно-временную структуру вещей. Если ввести в движущийся мир фиктивную мгновенность, вещи распадутся на части. Вещи, далекие от нас в пространстве и времени, могут быть внесены в это мгновение только в рамках нашего непосредственного контактного опыта. Они суть то, чем бы они были, если бы мы были там и потрогали их своими руками. Они приобретают характер осязаемой материи. Такова цена их размещения в мгновении существования наших тел. Но в этом мгновенном взгляде есть большое преимущество: он дает нам картину того, каким будет контактный опыт, когда мы доберемся до дальнего объекта, и определяет условия, при которых возникают дистанционные качества. Если бы мир существовал в опыте мгновенно, то нам пришлось бы найти какую-нибудь сферу вроде сознания, куда дистанционные, или так называемые вторичные качества вещей можно было перенести. Следовательно, если сознание и имеет в эволюционной истории

недвусмысленную значимость, то она относится к той стадии развития жизни, на которой поведение индивида выделяет и определяет будущую область и будущие объекты, составляющие его среду, и на которой возникают качества в объектах и восприимчивости в индивидах, соответствующие друг другу. Живой индивид и его среда соотносятся друг с другом и с точки зрения формы, и с точки зрения содержания.

Я хочу проследить, как внутри этого поведения возникли *Я* и разум.

В этом начинании подразумевается, что только *Я* имеют разум, что когниция, даже в простейшем выражении осознания, принадлежит только *Я*. Это, разумеется, не значит, что ниже стадии самосознания нет чувственных качеств и восприимчивости. Это опознается в нашем непосредственном опыте, насколько мы себя в нем не сознаем. Кроме того, предполагается, что это развитие происходило только в социальной группе, так как *Я* существуют лишь относительно других *Я*, подобно тому, как организм как физический объект существует лишь в связи с другими физическими объектами. Было две области, в которых возникли социальные группы, определявшие свою среду вместе со средой своих членов и их индивидуальностью. Они находятся в царстве беспозвоночных и в царстве позвоночных. У перепончатокрылых и термитов существуют общества, интересы которых определяют для индивидов их стимулы и места обитания и так дифференцируют самих индивидов, в основном через сексуальные и пищевые процессы, что индивид оказывается тем, что он есть, в силу своего членства в этих обществах. В сложной жизни группы акты индивидов доводятся до конца только через акты других индивидов, но медиация этого сложного поведения обнаруживается в физиологической дифференциации разных членов общества. Как отмечал Бергсон в связи с инстинктами, средства, с помощью которых выполняется сложный акт, обнаруживаются в дифференцированном строении формы. Нет убедительных свиде-

тельств того, что муравей или пчела обязаны предугадать акт другого муравья или пчелы, обладая склонностью реагировать на манер другого, чтобы его или ее деятельность могла быть интегрирована в общий акт. Нет признаков существования языка в их обществах. Чтобы открыть этот тип социального поведения, нет нужды обращаться к беспозвоночным. Если кто-то помогает подняться упавшему малышу, он адаптирует свои руки и установку к установке этого малыша, а малыш адаптирует себя к установке этого другого; в боксе или фехтовании один спортсмен реагирует на стимул другого с помощью приобретенного физиологического приспособления.

Помимо дифференциации полов, выкармливания детенышей и заботы о них, у позвоночных почти или совсем нет физиологической дифференциации, которая бы опосредовала хитросплетения социального поведения. Для успешного сотрудничества с другими мы должны каким-то образом вбирать их развертывающиеся акты внутрь себя, дабы иметь на выходе общий акт. Как я только что показал, есть небольшой репертуар социальной деятельности, в котором это не является необходимым. Сосание у детеныша и собачья драка, если можно назвать их социальной деятельностью, не требуют ничего сверх унаследованного физиологического приспособления. Возможно, следует добавить сюда так называемый стадный инстинкт, но вряд ли он окажется чем-то большим, нежели склонностью стада сбиваться в кучу в различных своих деятельности. Ухаживание и спаривание форм, забота о потомстве, группирование животных в миграциях и поединки почти исчерпывают социальное поведение позвоночных, и вне этих сезонных процессов общества позвоночных вряд ли существуют, пока дело не доходит до человека. На этом возможности медиации социального поведения, заключенные в строении позвоночных, заканчиваются, ибо организм позвоночного не проявляет той поразительной пластичности в физиологической дифференциации, которую мы мо-

жем проследить у насекомых, от обособленных форм до членов обществ термитов, муравьев и пчел.

Социальный акт можно определить как акт, в котором повод или стимул, высвобождающий импульс, заключен в качестве или поведении живой формы, относящемся к собственной среде живой формы, импульсом коей он является. Однако я хочу ограничить социальный акт тем классом актов, который предполагает кооперацию более чем одного индивида и в котором объект, определяемый актом в том смысле, в каком об этом говорит Бергсон, является социальным объектом. Под социальным объектом я имею в виду такой, который соответствует всем частям сложного акта, хотя части эти находятся в поведении разных индивидов. Цель (objective) акта, таким образом, находится в жизненном процессе группы, а не только в жизненных процессах отдельных индивидов. Полный социальный объект не существовал ни в средах отдельных особей в обществах перепончатокрылых и термитов, ни в ограниченных обществах позвоночных, основа которых обнаруживается исключительно в физиологическом приспособлении. О корове, которая вылизывает кожу теленку, вывалявшемуся в сене, до тех пор, пока кожа не будет вычищена, а затем ест это сено, или о женщине, расходующей свой материнский импульс на пуделя, нельзя сказать, что они располагают полным социальным объектом, заключенным в целостном акте, в их средах. Необходимо было бы свести среды разных индивидов или наложить их друг на друга, чтобы получить среду и объекты обсуждаемых обществ.

Там, где такие формы, как перепончатокрылые и термиты, проявляют высокую пластичность в развитии, основанные на физиологическом приспособлении социальные акты и соответствующие общества достигли поразительной сложности. Но с достижением предела этой пластичности достигается и предел социального акта и общества. Там, где физиологическое приспособление, опосредствующее социальный акт, ограничивается и фиксируется, как у позвоночных, общества

этого типа, соответственно, незначительны. Меж тем описание социального акта, основанного на физиологическом приспособлении, предполагало, по крайней мере, еще один тип социального акта и соответствующие ему общество и объект. В таком акте разные части акта, принадлежащие разным индивидам, должны проявляться в акте каждого индивида. Это не может означать, что индивид мог бы выполнить весь акт в одиночку, ибо тогда, оказавшись это даже возможно, акт перестал бы быть социальным актом, а стимул, вызывающий его собственную часть сложного акта, не мог бы быть стимулом, вызывающим другие части этого акта, насколько они явлены в его поведении. Для появления в его опыте социального объекта нужно, чтобы стимулы, высвобождающие реакции других, заключенные в акте, присутствовали в его опыте не как стимулы к его реакции, а как стимулы к реакциям других; а значит, социальная ситуация, возникающая по завершении одной фазы акта, которая служит стимулом для следующего участника сложной процедуры, будет в каком-то смысле присутствовать в опыте первого действующего, имея тенденцию вызывать в нем не его собственную реакцию, а реакцию следующего действующего. Давайте примем невозможное допущение, что оса, жала паука и подкладывая его к своему яйцу, обнаруживает в пауке социальный объект в том смысле, в каком я его специфицировал. Паук существовал бы тогда в опыте осы как живая, но неподвижная пища для личинки, когда та появится из яйца. Чтобы парализованный паук был так явлен осе, она должна была бы быть восприимчивой к тому же стимулу, который высвобождает реакцию личинки; другими словами, оса должна была бы быть способной реагировать в какой-то степени так, как реагирует личинка. И, разумеется, осе пришлось бы видеть паука во временном измерении, присоединяя гипотетическое будущее к его преходящему настоящему, но повод для этого должен был бы содержаться в тенденции осы к реагированию в роли личинки на пищу, которую она складировать. Итак, мы видим еще один воз-

можный принцип социальной организации, отличный от физиологической дифференциации. Если объекты, соответствующие сложному социальному акту, могут пространственно-временным образом существовать в опыте разных членов общества как стимулы, которые высвобождают в них не только собственные реакции, но и реакции их соучастников по составному акту, то можно найти принцип координации, не зависящий от физиологической дифференциации. Необходимое психологическое условие этого состоит в том, что в организме индивида должны каким-то образом присутствовать тенденции реагировать так, как реагировали бы другие участники акта. На самом деле все сложнее, но это как минимум необходимая предпосылка. Социальный объект, соответствующий реакциям разных индивидов в обществе, мог бы мыслиться как существующий в опытах индивидов в этом обществе, если бы разные реакции этих индивидов, заключенные в сложных актах, содержались в природах отдельных индивидов в степени, достаточной для того, чтобы делать их восприимчивыми к разным ценностям объекта, соответствующим разным частям этого акта.

Кора головного мозга в центральной нервной системе позвоночных обеспечивает по крайней мере часть механизма, который мог бы сделать это возможным. Нервные токи, идущие от позвоночника и ствола головного мозга к коре, могут приводить акты, исходящие из этих низших центров, в связь друг с другом, в результате чего могут возникать более сложные процессы и приспособления. Центры и проводящие пути коры головного мозга представляют бесконечное множество возможных действий, в том числе акты, которые, друг с другом соперничая, взаимно друг друга тормозят и ставят проблему организации и приспособления, при которых бы внешнее поведение продолжалось. В токах и встречных токах в сером веществе и его соединительных волокнах есть тенденции к бесконечному множеству реакций. Этим приспособлениям соответствуют объекты, организующиеся в поле действия не только

пространственно, но и темпорально; ведь склонность схватить отдаленный объект, будучи возбужденной, связывается с процессами приближения так, что не находит внешнего выражения, пока не будет пройдено промежуточное расстояние. В этом аппарате поведения позвоночных уже возбужденные склонности к тысячам актов, далеко выходящим за рамки внешних свершений, обеспечивают, стало быть, внутренние установки, которые подразумевают объекты, не являющиеся непосредственными целями акта индивида.

Но кора головного мозга — не просто механизм. Это орган, который существует в выполнении его функции. Если эти тенденции к действию, не получающие немедленного выражения, появляются и удерживаются, то происходит это потому, что они принадлежат продолжающемуся акту. Если, например, собственность есть социальный объект в опыте людей, в отличие от ореха, хранимого белкой, то это потому, что продукты, покупаемые кем-то, иннервируют весь комплекс реакций, посредством которого собственность не только приобретает, но также уважается и защищается, и этот комплекс, таким образом иннервированный, есть существенная часть акта, посредством которого человек покупает и хранит свою еду. Суть не в том, что покупка еды более сложное дело, чем подборание ее с земли, а в том, что обмен — это акт, в котором человек побуждает себя отдавать, что-то предлагая. Предложение является тем, что оно есть, потому что преподнесение служит стимулом отдать. Нельзя совершить обмен иначе, нежели поместив свое Я в установку другого участника торга. Собственность становится осязаемым объектом, поскольку все существенные фазы собственности проявляются в действии всех, вовлеченных в обмен, и притом проявляются как существенные черты действия индивида.

Индивид выступает в таком акте как Я. Если кора головного мозга стала органом социального поведения и сделала возможным появление социальных объектов, то это потому, что индивид стал Я, т.е. индивидом, ор-

ганизирующим собственную реакцию через тенденции других реагировать на его акт. Он может делать это, поскольку механизм мозга позвоночного позволяет индивиду принимать при формировании акта разные установки. Но в эволюции позвоночных *Я* появились поздно. Центральная нервная система слишком мелко устроена, чтобы можно было показать соответствующие структурные изменения в проводящих путях мозга. Лишь в поведении человеческого животного можно проследить эту эволюцию. Обычно эту стадию в развитии выделяли, наделяя человека разумом или, по крайней мере, чем-то вроде разума. Пока сознание считается своего рода духовной материей, из которой образуются ощущения, аффектации, образы и идеи, или значимости, разум как локус этих сущностей является почти необходимым допущением, но когда эти содержания возвращаются вещам, отпадает и необходимость вместилищ для этой мебели.

Прослеживание следствий этого поворота для логики и эпистемологии выходит за рамки этой статьи, но во всех так называемых ментальных процессах есть фаза, имеющая центральное значение для нашего обсуждения, и это — самосознание. Если высказанные мною предположения окажутся разумными, то *Я*, центральное для всего так называемого ментального опыта, появилось лишь в социальном поведении такого позвоночного, как человек. Именно в силу того, что индивид находит себя принимающим установки других, втянутых в его поведение, он становится объектом для самого себя. Лишь принимая роли других, мы стали способны обращаться к самим себе. Мы уже видели, что социальный объект может существовать для индивида лишь при условии, что разные части целостного социального акта, выполняемые другими членами общества, присутствуют так или иначе в поведении этого индивида. Верно и то, что *Я* может существовать для индивида, только если он принимает роли других. Наличие в поведении индивида тенденций действовать так, как действуют другие, можно, следовательно,

считать ответственным за появление в опыте индивида социального объекта, т.е. объекта, соответствующего сложным реакциям некоторого множества индивидов, а также за появление Я. Они и впрямь появляются вместе. Собственность может появиться как объект лишь постольку, поскольку индивид, собираясь предложить что-то на продажу, стимулирует себя купить. Покупка и продажа подразумевают друг друга. Нечто обмениваемое может существовать в опыте индивида лишь постольку, поскольку у него есть тенденция продать, когда есть тенденция купить. И он становится Я в своем опыте лишь постольку, поскольку в социальном предприятии одна установка с его стороны вызывает соответствующую ей другую установку.

Именно это и подразумевается под «самосознанием». Мы предстаем как Я в своем поведении, поскольку принимаем установку, принимаемую другими по отношению к нам в этих соотносительных деятельности. Хорошим примером будет, пожалуй, «право». В противовес защите своей жизни и собственности мы принимаем установку согласия всех членов сообщества. Мы принимаем то, что можно назвать ролью «генерализованного другого»; делая это, мы появляемся как социальные объекты, как Я. Интересно отметить, что в индивидуальном развитии ребенка имеются две стадии, представляющие собой два существенных шага в обретении самосознания. Первая стадия — это стадия спонтанной игры (play); вторая — стадия организованной игры (game). Эти две стадии отличны друг от друга. В спонтанной игре, в этом смысле, ребенок непрерывно действует как родитель, учитель, проповедник, бакалейщик, полисмен, пират, индеец. Этот период инфантильного существования Вордсворт описывал как период «нескончаемого подражания». У Фрёбеля это период детсадовских игр. В ходе него, как выяснил Фрёбель, ребенок осваивает роли тех, кто принадлежит к его обществу. Это происходит в силу того, что ребенок постоянно возбуждает в себе реакции на свои социальные акты. При младенческой за-

висимости от реакций других на его социальные стимулы он особенно восприимчив к этой связи. Имея в собственной природе зачатки родительской реакции, он вызывает ее своими призывами. Кукла — универсальный тип этого, но прежде чем играть с куклой, он уже реагирует тоном голоса и установкой так, как реагируют на его смех и плач его родители. Это называли подражанием, но теперь психологи признают, что человек подражает лишь в той мере, в какой так называемый имитируемый акт может быть вызван в индивиду его собственной стимуляцией. Иначе говоря, человек вызывает или имеет тенденцию вызывать в себе ту же реакцию, которую он вызывает в другом.

Спонтанная игра предшествует организованной. Ведь в организованной игре есть регулируемая процедура и правила. Ребенок должен не просто принять роль другого, как он это делает в случае спонтанной игры, но должен принять разные роли всех участников организованной игры и соответствующим образом управлять своим действием. Играя на первой базе, он действует как тот, кому будут бросать мяч полевой игрок или кетчер. Их организованные реакции на него встраиваются им в собственное разыгрывание разных позиций; эта организованная реакция становится тем, что я назвал «генерализованным другим», и сопровождает и контролирует его поведение. Именно этот генерализованный другой, присутствующий в его опыте, дает ему Я. Могут лишь сослаться на значимость этой детской игровой установки для так называемой симпатической магии. Примитивные люди вызывают в собственной деятельности некое подобие (*simulation*) реакции, которой они ищут от окружающего мира. Они дети, кричащие в ночи.

Механизм этого предполагает, что индивид, стимулирующий других откликнуться, одновременно будит в себе тенденции к тем же реакциям. Но то в сложном социальном акте, что служит другому индивиду стимулом к его реакции, как правило, не пригодно для возбуждения тенденции к этой же реакции в самом инди-

виде. Враждебное поведение животного, как предполагается, не пугает само это животное. Вряд ли можно считать, что часть акта одной формы, вызывающая соответствующую реакцию другой, особенно в сложных социальных реакциях муравьев, термитов и пчел, пробуждает схожую реакцию в рассматриваемой форме, ведь здесь сложный социальный акт зависит от физиологической дифференциации; несходство в строении настолько велико, что один и тот же стимул не мог бы вызвать схожие реакции. Для механизма, который мы предположили, нужно прежде всего найти в социальном поведении членов аутентичной группы стимул, который может вызвать в ответственном за него индивиду ту же реакцию, которую он вызывает в другом; и, кроме того, индивиды в группе должны иметь настолько схожее строение, чтобы этот стимул имел для одной формы ту же ценность, что и для другой. Такой тип социального стимула в человеческом обществе обнаруживается в голосовом жесте. Я употребляю термин «жест» для обозначения той части акта или установки одного индивида, втянутого в социальный акт, которая служит другому индивиду стимулом к выполнению его части целостного акта. Примеры жестов, в таком их определении, можно найти в установках и движениях других, на которые мы реагируем, проходя мимо них в толпе, в поворачивании головы для встречи взглядом с другим человеком, во враждебной установке, принимаемой в ответ на угрожающий жест, в тысяче и одной разной установке, которые мы принимаем по отношению к разным модуляциям человеческого голоса, или в установках и финтах боксеров и фехтовальщиков, к которым так изящно подгоняются реакции. Отметим, что установки, о которых шла речь, — это всего лишь стадии в акте, явленные другим; сюда входят выражения самообладания, положения тела, изменения в ритме дыхания, внешние признаки перемен в кровообращении и звуки голоса. В общем, эти так называемые жесты относятся к началу внешнего акта, ибо принобления других к социальному процессу лучше всего

осуществляются на ранних этапах акта. Следовательно, жесты — это ранние стадии внешнего социального акта, на которые реагируют другие формы, вовлеченные в тот же акт. Наш интерес состоит в том, чтобы найти жесты, которые могут воздействовать на ответственного за них индивида таким же образом, как они воздействуют на других индивидов. Голосовой жест — по меньшей мере, один из них. Когда мы его производим, он достигает нашего слуха таким же физиологическим способом, каким он достигает слуха других. Мы слышим собственные голосовые жесты так же, как их слышат другие. Мы можем видеть или ощущать движения наших рук так, как их видят или ощущают другие, и эти взгляды и ощущения заняли место голосовых жестов у людей, которые от рождения глухи или одновременно глухи и слепы. Но именно голосовой жест дал в первую очередь средство социальной организации в человеческом обществе. Исторически он принадлежит началу акта, ибо возникает из изменения в ритме дыхания, сопровождающего подготовку к внезапному действию, к тем действиям, к которым другие формы должны быть хорошо приспособленными.

Итак, если голосовой жест пробуждает в производящем его индивиде тенденцию к той же реакции, которую он пробуждает в другом, и это начало акта другого в нем самом входит в его опыт, то он окажется склонным действовать по отношению к себе так, как действует другой по отношению к нему. В своем самосознательном опыте мы понимаем, что он делает или говорит. Возможность этого вхождения в опыт мы обнаружили в коре головного мозга. В ней могут возбуждаться координации, соответствующие бесконечному множеству актов, и они, удерживая друг друга под контролем, входят в нервный процесс приспособления, ведущий к конечному внешнему поведению. Произнося и слыша себя произносящим слово «стол», индивид пробуждает в себе организованные установки своей реакции на этот объект таким же образом, каким пробуждает ее в другом. Обычно такую вызван-

ную организованную установку мы называем идеей, и идеи того, что мы говорим, сопровождают всю нашу осмысленную речь. Если верить утверждению, содержащемуся в одном из посланий св. Павла, некоторые святые говорили на языках, которые не обладали для них значимостью. Они издавали звуки, не вызывавшие реакции в тех, кто их издавал. Звуки были бессмысленными. Когда голосовой жест, производимый одним индивидом, ведет к некоторой реакции в другом, мы можем назвать его символом этого акта; когда он пробуждает тенденцию к той же реакции в человеке, который его производит, мы можем назвать его значимым символом. Эти организованные установки, которые мы пробуждаем в себе, когда говорим с другими, являются, следовательно, идеями; мы говорим, что они находятся в наших умах, а поскольку они пробуждают те же установки в других, то и в их умах тоже, насколько те являются самосознательными в смысле, в котором я употребляю этот термин. Меж тем нам нет необходимости говорить с другими, чтобы иметь эти идеи. Мы можем говорить с собой, и мы делаем это на внутреннем форуме того, что зовется мышлением. Мы обладаем Я ровно в той степени, в какой можем принимать и принимаем установки других по отношению к нам и реагируем на эти установки. Мы одобряем себя и осуждаем себя. Мы похлопываем себя по плечу и набрасываемся на себя в слепой ярости. Мы принимаем генерализованную установку группы в форме цензора, стоящего на страже у ворот нашего воображения и внутренних разговоров, и в форме утверждения законов и аксиом универсума дискурса. *Quod semper, quod ubique*. Наше мышление есть внутренний разговор, в котором мы можем принимать в отношении себя роли конкретных знакомых, но обычно беседуем с тем, что я назвал «генерализованным другим», выходя тем самым на уровень абстрактного мышления и той безличности, так называемой объективности, которую мы очень ценим. Насколько я понимаю, так в человеческом поведении возникли Я, а вместе с ними и их разумы. Ин-

интересно изучить, как возникают Я и его разум в случае каждого ребенка и как явлен соответствующий способ их возникновения у примитивного человека. Я не могу углубиться в обсуждение этого вопроса. Хочу вместо этого указать на некоторые следствия подобного понимания Я для теории социального контроля.

Я хочу вернуться к принятому ранее в статье положению, что если мы признаем, что опыт есть процесс, непрерывно перетекающий в будущее, то объекты существуют в природе как паттерны наших действий. Если мы сводим мир к фиктивному мгновенному настоящему, то все объекты распадаются на осколки. В таком случае нигде, кроме как в столь же фиктивном разуме, не обнаруживается оснований для проведения вокруг той или иной группы физических частиц каких-либо линий, конституирующих их как объекты. Но ведь такого одномоментного настоящего не существует. Даже в так называемом мнимом настоящем имеется переход, в котором есть последовательность, есть прошлое и будущее, а настоящее — всего лишь часть, в которую, с точки зрения действия, оба они вплетены. Принимая эту присущую природе переходность всерьез, мы видим, что объект перцепции есть наличное будущее акта. Пища — это то, что животное съест; а убежище — это нора, где оно укроется от преследователя. Конечно, будущее как будущее контингентно. Животное не может его избежать, но будущее существует в природе как наличное сопровождение его акта. Фиксированные связи, поскольку они наличествуют, относятся к прошлому. В объекте заключены как прошлое, так и будущее, но форма, которую он имеет, возникает из развертывающегося акта. Эволюционная биология, поскольку она является не просто физикой и химией, исходит — быть может, невольно — из этого допущения, и то же самое делает социальная наука, насколько она не статична. Ее объекты заключены в хабитате, среде. Они формируются реакциями. Я лишь подтверждаю существование этих

объектов, подтверждаю их как наличествующие в подвижном универсуме, соответствующем актам.

Поскольку есть социальные акты, постольку есть социальные объекты, и я считаю, что социальный контроль приводит акт индивида в связь с таким социальным объектом. С контролем объекта над актом мы очень хорошо знакомы. Именно потому, что объект есть форма акта, он в этом своем качестве контролирует выражение акта. Видение отдаленного объекта — это не только стимул двигаться к нему. В своих меняющихся дистанционных значениях это еще и непрерывный контроль над актом приближения. Очертания объекта определяют организацию акта овладения им, но в этом случае весь акт располагается в индивиде, а объект — в его поле опыта. Препятствуя сбоям в структуре или функции, само существование объекта гарантирует его контроль над актом. В случае социального акта, однако, акт распределяется между некоторым множеством индивидов. Хотя каждой части акта соответствует или может соответствовать объект, существующий в опыте каждого из индивидов, в обществах, основанных на физиологической дифференциации, ни у одного индивида не существует в опыте весь объект. Контроль может осуществляться через выживание физиологических дифференциаций, продолжающих поддерживать жизненный процесс, заключенный в сложном акте. Никакое усложнение акта, не опосредовавшее это, не могло выжить. Либо мы можем отступить к контролирующему фактору в акте, как это делает Бергсон, но это не та ситуация, которая нас интересует. Человеческие общества, нас интересующие, — это общества, образованные множеством Я. Человеческий индивид является Я лишь постольку, поскольку принимает в отношении себя установку другого. Поскольку эта установка является установкой множества других и он может принимать организованные установки многих, сотрудничающих в общей деятельности, он принимает установки группы по отношению к себе и, принимая эти установки, опре-

деляет объект группы, а этот объект определяет и контролирует реакцию. Тогда социальный контроль будет зависеть от того, в какой степени индивид принимает установки тех в группе, кто вовлечен вместе с ним в его социальные деятельности. В уже приводившемся примере покупатель контролирует покупку исходя из ценности объекта, существующей для него лишь постольку, поскольку он принимает установку не только покупателя, но и продавца. Ценность существует как объект только для тех индивидов, в актах которых при обмене присутствуют установки, принадлежащие актам других необходимых участников обмена.

Акт обмена становится очень сложным; степень, в которой все существенные акты, включенные в него, входят в акты всех тех, кто в него вовлечен, чрезвычайно изменчива, и пропорционально этому варьирует контроль, который осуществляет над актами объект, т.е. ценность. Марксова теория государственной собственности на капитал, т.е. полностью государственного производства, — яркий пример крушения такого контроля. Социальный объект — успешное экономическое производство, как оно представляется в этой теории, — не впитывает в себя установки индивидуальной инициативы, подразумеваемые успешным экономическим производством. Демократическое правление, базирующееся на теории действия, опосредованного всеобщим интересом к итогам выборных кампаний, рушится как инструмент контроля и уступает место политической машине, объект которой больше соответствует установкам избирателей и тех, у кого нет права голоса.

Социальный контроль зависит, следовательно, от того, в какой степени индивиды в обществе способны принимать установки других, вовлеченных с ними в общее дело. Ибо социальный объект всегда будет соответствовать акту, развивающемуся в самосознании. Не только собственность, но и все иные институты являются такими объектами и служат осуществлению контроля над индивидами, обнаруживающими в них организацию своих социальных реакций.

Разумеется, индивид не принимает установок всех бесчисленных других, так или иначе вплетенных в его социальное поведение, разве что настолько, насколько установки других единообразны при схожих обстоятельствах. Он принимает, как уже говорилось, установки генерализованных других. Но даже с этим преимуществом универсального над множественностью его несметных проявлений число разных реакций, входящих в наше социальное поведение, похоже, бросает вызов всякой способности индивида принять те роли, которые были бы существенными для определения наших социальных объектов. И все-таки, хотя современная жизнь стала несоизмеримо сложнее, чем в прежние эпохи человеческой истории, современному человеку гораздо легче, чем его предшественнику, ставить себя на место тех, кто вносит вклад в его благополучие, соучаствует с ним в функциях управления или соединяется с ним в определении цен. Суть дела не в числе участников и даже не в числе разных функций. По-настоящему важно то, принадлежат ли эти разные формы деятельности члену человеческого общества так естественно, что при принятии роли другого его деятельности оказываются принадлежащими его собственной природе. Пока хитросплетения человеческого общества не превосходят в сложности центральную нервную систему, проблема адекватного социального объекта, идентичная проблеме адекватного самосознания, состоит не в ознакомлении с несметным множеством актов, заключенных в социальном поведении, а в преодолении расстояний во времени и пространстве, барьеров языка, конвенции и социального статуса, которое позволило бы нам говорить с собой в ролях тех, кто втянут с нами в общее дело жизни. Журналистика, проявляющая ненасытное любопытство к человеческим установкам всех нас, — примета нашего времени. Иные проявления любопытства к условиям, в которых живут, работают, борются и любят друг друга другие люди, проистекают из того исходного любопытства,

коим является страсть самосознания. Мы должны быть другими, чтобы быть самими собой. Современный реалистический роман сделал больше, чем техническое образование, для формирования социального объекта, т.е. для социального контроля. Если мы сможем свести людей так, чтобы они смогли войти в жизни друг друга, у них неизбежно будет общий объект, который будет контролировать их общее поведение.

Задача эта, однако, не из простых, ибо предполагает разрушение не просто таких пассивных барьеров, как дистанция в пространстве, времени и родном языке, но и тех фиксированных установок обычая и статуса, в которых укоренены наши Я. Всякое Я есть социальное Я, но оно ограничено группой тех, чьи роли оно принимает; и оно никогда не откажется от себя до тех пор, пока не войдет в более широкое общество и не начнет сохранять себя в нем. Вся история войн между обществами и внутри обществ показывает, с насколько большей готовностью и насколько бóльшим эмоциональным рвением мы реализуем наши Я в противостоянии общим врагам, а не в сотрудничестве с ними. По всей Европе, и конкретно в Женеве, мы видим националов, пытающихся с большим недоверием и постоянными разочарованиями ставить себя на место друг друга и при этом сохранять Я, существовавшие на почве вражды, чтобы нащупать тот общий фундамент, который позволил бы им избежать ужаса войны и улучшить невыносимые экономические условия. План Дауэса — это рождающийся в муках социальный объект, способный взять под контроль конфликтующие интересы враждебных сообществ, но только если каждое из них при его реализации могло бы в какой-то степени поставить себя на место другого. Всемирный суд и Лига наций — другие такие социальные объекты, которые прочерчивают общие планы действий; последние осуществимы, если есть национальные Я, способные реализовать себя в сотруднических установках других.

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ*

*Джордж Герберт Мид
и его
«Философия настоящего»*

СТРАННЫЙ КЛАССИК

В апреле 2013 г. в Чикагском университете была проведена большая трехдневная конференция, посвященная 150-летию Джорджа Герберта Мида¹. Конференция собрала десятки ученых, представлявших самые разные области знания: философию, социологию, политическую науку, психологию, когнитивную науку, экологию. Основным мотивом выступлений была перспективность развития идей Мида в связи с целым рядом передовых направлений научных исследований². Статус Мида как мыслителя-классика в очередной раз получил блистательное наглядное подтверждение. Этот статус закрепился за ним так прочно и, казалось бы, неизбежно, что сама эта неизбежность скрывает из виду всю необычность и даже странность этой классичности.

Странности начинаются с особого характера мидовского наследия. Известно, что Мид, отличаясь незаурядной скромностью (о ней пишет и Дж. Дьюи в «Предварительных замечаниях» к «Философии настоящего»), публиковался крайне мало. При жизни он не

* Николаев Владимир Геннадьевич — кандидат социологических наук, доцент кафедры общей социологии НИУ ВШЭ.

¹ Мид родился 27 февраля 1863 г. Биографический очерк см.: *Miller D.L. George Herbert Mead: Self, Language and the World. Austin; L.: University of Texas Press, 1973. P. xi-xxxviii.*

² Отчет о конференции см.: *Huebner D. George Herbert Mead at 150 // Perspectives: Newsletter of the ASA Theory Section. 2013. Vol. 35. May. Is. 1. P. 3, 8. <<http://www.csun.edu/~egodard/asatheory/newsletter.html>>.*

издал ни одной книги, а среди сотни опубликованных им статей значительную часть составляли обзоры книг и небольшие очерки по различным проблемам образования³. Его идеи транслировались в основном через лекционные курсы, читавшиеся им в Чикагском университете (самым известным среди них был курс социальной психологии, который он читал с 1900 г. почти до самой своей кончины). Соответственно, за пределами Чикаго он по-настоящему широкой известностью не пользовался. Деятельность его учеников и популяризаторов — таких, например, как Ч. Элвуд — мало что в этом отношении меняла: круг популяризуемых ими идей Мида был ограниченным; его ученики транслировали их в той форме, в какой усвоили во время учебы у него в Чикаго, в то время как они постоянно менялись, совершенствовались, развивались; ссылки на Мида если и приводились, то в самом общем виде, ибо текстов, на которые можно было подобающим образом сослаться, попросту не существовало⁴. Распро-

³ Библиографию прижизненно и посмертно опубликованных работ Мида см.: *Кравченко Е.И.* Джордж Герберт Мид: философ, психолог, социолог. М.: МГЛИ, 2006. С. 276–286.

⁴ Один из самых ярких случаев в этом отношении демонстрирует Г. Блумер, учившийся у Мида, унаследовавший в Чикагском университете его курс социальной психологии и впоследствии напрямую претендовавший на то, что его «символический интеракционизм» является единственным законным наследником мидовского «социального бихевиоризма». В значительной части текстов Блумера, написанных после выхода в свет посмертно опубликованных мидовских книг, вообще нет ссылок на Мида. Блумер не считал необходимым делать ссылки на эти книги; само собой предполагалось, что развиваемые им идеи — это идеи Мида и есть. Это обстоятельство настолько бросалось в глаза, что на него обращали специальное внимание критики. См., например: *LoConto D.G., Jones-Pruett D.L.* The Influence of Charles A. Ellwood on Herbert Blumer and Symbolic Interactionism // *Journal of Classical Sociology*. 2006. Vol. 6. No. 1. P. 80; *McPhail C., Rexroat C.* Ex cathedra Blumer or ex libris Mead? // *American Sociological Review*. 1980. Vol. 45. No. 3. P. 420-430.

страненный миф о популярности лекций Мида среди студентов скрывает тот факт, что далеко не все слушатели его понимали⁵. Это особенно заметно в своеобразии рецепции его идей социологами и социальными психологами. Его концепции усваивались ими избирательно, ограниченно и в упрощенной форме — отчасти в обработке Э. Фэриса, несколько лет читавшего курс социальной психологии совместно с Мидом (Фэрису отводилась вводная часть курса), отчасти в рамках общего восприятия прагматистской эпистемологии и социальной психологии через публикации Дж. Дьюи и Р. Энджелла⁶. У столпов чикагской социологической традиции У.А. Томаса и Р.Э. Парка почти совсем нет ссылок на Мида, но есть ссылки на Дьюи, с которым оба были связаны дружескими отношениями⁷. Наи-

⁵ По воспоминаниям Блумера, «реакция на лекции Мида была неизменно двоякой. На некоторых студентов... лекции Мида производили глубокое впечатление; они чувствовали, что он изменил все их мировоззрение. Другие же, не уступавшие первым в своем интеллектуальном уровне, никогда не могли понять, о чем шла речь» (*Козер Л. Мастера социологической мысли: Идеи в историческом и социальном контексте*. М.: Норма, 2006. С. 257).

⁶ Ж.-М. Шапули отмечает: «...распространение мидовской перспективы, происходившее отчасти через преподавание Элсуорта Фэриса, было гораздо более медленным, чем можно было бы ожидать исходя из того, как часто чикагские студенты посещали занятия Мида» (*Chapoulie J.-M. Everett Hughes and the Chicago Tradition // Sociological Theory*. 1996. Vol. 14. Is. 1. P. 8). О преимущественном влиянии на чикагских социологов в 1920–1940-е годы книг Джона Дьюи «Опыт и природа» и «Человеческая природа и поведение» говорит А. Стросс (*Strauss A. The Chicago Tradition's Ongoing Theory of Action/Interaction // The Chicago School: Critical Assessments / ed. by K. Plummer. Vol. II. L.; N.Y.: Routledge, 1997. P. 174–179*).

⁷ Л. Козер отмечает, ссылаясь на А. Стросса, что «хотя оба, и У. Томас, и Р. Парк держали Мида в своем поле зрения, первый утверждал, что он его не понимает, а второй заявлял, что он прочел мало его работ» (*Козер Л. Указ. соч. С. 258*).

более оригинальные идеи Мида, выходящие за общие рамки прагматизма и отличающие именно его, не обнаруживаются в виде сколько-нибудь заметных следов ни в их работах, ни в работах их учеников (за исключением, может быть, Блумера). Соответственно, встречающееся иногда прямое отнесение Мида к чикагской социологической традиции⁸ имеет по большей части ретроспективный характер: влияние его на эту традицию было скорее косвенным и уж никак не самым важным.

Новая страница в интеллектуальной биографии Мида была открыта посмертным изданием нескольких его книг. Все эти книги были подготовлены к печати усилиями его учеников и последователей. В 1932 г. вышла в свет «Философия настоящего»⁹, в 1934 г. — «Разум, Я и общество, с точки зрения социального бихевиориста»¹⁰, в 1936 г. — «Течения мысли в XIX столетии»¹¹, в 1938 г. — «Философия акта»¹². Вместе с прижизненно опубликованными статьями¹³ они составили корпус текстов Мида, принятый долгое

⁸ См., например: *Flaherty M.G., Fine G.A. Present, Past, and Future: Conjugating George Herbert Mead's Perspective on Time // Time & Society. 2001. Vol. 10. No. 2–3. P. 147.*

⁹ *Mead G.H. The Philosophy of the Present / ed., with an introduction, by A.E. Murphy. La Salle: Open Court, 1932.*

¹⁰ *Mead G.H. Mind, Self, and Society: From the Perspective of a Social Behaviorist / ed., with an introduction, by C.W. Morris. Chicago: University of Chicago Press, 1934.*

¹¹ *Mead G.H. Movements of Thought in the Nineteenth Century / ed., with an introduction, by M.H. Moore. Chicago: University of Chicago Press, 1936.*

¹² *Mead G.H. The Philosophy of the Act / ed., with an introduction, by C.W. Morris. Chicago: University of Chicago Press, 1938.*

¹³ Значительная их часть была позже собрана в одном томе: *Mead G.H. Selected Writings / ed. by A.J. Reck. Chicago: University of Chicago Press, 1964.*

время как окончательный¹⁴ и, видимо, много кому представляющийся таковым до сих пор.

Своеобразие этих четырех книг неизменно отмечается в литературе. Ни одна из них не была публикацией готовой рукописи. Ближе всего к обычному типу публикации стоит «Философия настоящего», ядро которой составляют четыре подготовленные самим Мидом Карусовские лекции; но даже и в ней половину текста составляют неоконченные черновые фрагменты, обработанные редактором. Остальные три книги целиком собраны редакторами из архивных фрагментов. Книги «Разум, Я и общество» и «Течения мысли в XIX столетии» собраны из заметок Мида к двум лекционным курсам, читавшимся им в Чикагском университете (соответственно, курсу социальной психологии и курсу истории философской мысли XIX в.); книга «Философия акта» — из неопубликованных статей, заметок к лекциям и даже студенческих конспектов его лекций. Публикация этих четырех томов с последующим сведением под одну обложку значительного числа прижизненно опубликованных статей сыграла важную роль в классикализации Мида, материализовав в бумажных памятниках его странное и неуловимое прижизненное влияние. Однако она же породила прочно утвердившееся со временем представление, что другого Мида фатально нет, что это все, что оставила в наследство потомкам его мысль. Поскольку наибольшим влиянием идеи Мида пользовались в социологии и социальной психологии, из всего его наследия выделилась в качестве главного труда книга «Разум, Я и общество»,

¹⁴ Подготовленная А. Строссом книга «Социальная психология Джорджа Герберта Мида» представляет собой концептуально выстроенную подборку ранее опубликованных текстов и фрагментов Мида, предназначенную для социологов и социальных психологов. В ней не содержится ранее неопубликованных текстов (The Social Psychology of George Herbert Mead / ed. by A. Strauss. Chicago: University of Chicago Press, 1956).

другие же книги стали восприниматься как второстепенные, дополнительные, несущественные¹⁵ — в значительной мере в силу самой их несоциологической и непсихологической тематики. При этом социальная психология Мида стала восприниматься как полностью заключенная в книге «Разум, Я и общество», причем в готовом и, со всеми оговорками, окончательном виде; иллюзия того, что социальная психология Мида была лишена внутренней истории и определенной траектории развития, широко распространена до сих пор.

Представление о «готовом» характере мидовской социальной психологии, а заодно и о полноте имеющегося корпуса его текстов, несколько поколебала публикация в 1982 г. еще одной книги Мида, в некоторых отношениях даже превосходящей в аутентичности предшествующие его посмертные публикации: «Индивид и социальное Я»¹⁶. Книга была подготов-

¹⁵ Отчасти это сохраняется до сих пор: «Книга Джорджа Герберта Мида “Разум, Я и общество” (1934) присутствует в большинстве учебных программ по теории, прочно установленная Блумером и другими символическими интеракционистами как один из классических трудов по социологии... На первых страницах введения к этой книге мы узнаем, что многие, а может быть, и большинство великих мыслей Мида никогда не записывались для потомства... Но лишь немногие из нас здесь приостанавливаются настолько, чтобы узнать, что эти мысли представлены не только в “Разуме, Я и обществе” и что существуют еще три тома лекций Мида...» (Bessett D., Lembo R. *Anticipating the Future: Reconsidering “The Philosophy of the Present”* // *Sociological Forum*. 2005. Vol. 20. No. 1. P. 175).

¹⁶ *Mead G.H. The Individual and the Social Self: Unpublished Works of George Herbert Mead / ed., with an introduction, by D.L. Miller. Chicago; L.: University of Chicago Press, 1982.* О произвольности подбора и комбинации фрагментов этого курса, относящихся к 1927 и 1930 гг., допущенной Ч. Моррисом в книге «Разум, Я и общество», см.: *Strauss A. Review: The Individual and the Social Self: Unpublished Work of George Herbert Mead, by David L. Miller // American Journal of Sociology*. 1984. Vol. 89. No. 6. P. 1441–1443.

лена Д.Л. Миллером и содержит записи двух курсов социальной психологии, прочитанных Мидом в 1914 и 1927 гг.¹⁷ Эти два курса существенно отличаются друг от друга, и сравнение их содержания позволяет увидеть, в каком направлении Мид двигался в своих изысканиях в последние годы жизни; канонический корпус его текстов не давал этого видения. Между тем публикация не вызвала большого фурора ни среди социальных психологов, ни среди специалистов по истории идей. Книга осталась почти незамеченной.

Такой же незамеченной остается и публикация в 2001 г. еще одной, никогда ранее не издававшейся книги Мида — «Очерки социальной психологии»¹⁸. Парадоксально, но во время работы в архивах выяснилось — в то время как стало чуть ли не притчей во языцех, что Мид за всю жизнь не написал ни единой книги, — что все-таки одну книгу он написал, причем от и до, но по каким-то причинам не стал издавать. Он готовил ее несколько лет, с 1892 по 1910 г. Книга была подготовлена к печати Мэри Джо Диган и вышла в свет спустя 70 лет после кончины автора. Резонанса это издание не имело, хотя оно представляет идеи Мида и контекст их формирования с совершенно иной стороны, чем мы обычно их видим, опираясь на ранее изданные книги, составленные из разрозненных статей, незаконченных заметок, стенограмм и студенческих записей.

Наконец, в книге М. Джо Диган «Я, война и общество: макросоциология Джорджа Герберта Мида», из-

¹⁷ Тексты лекций существовали в готовых машинописных рукописях, и вмешательство Миллера как редактора свелось к исправлению пунктуации и грамматических огрехов, не затронув само их построение. См.: *Miller D.L. Introduction // Mead G.H. The Individual and the Social Self... P. 1.*

¹⁸ *Mead G.H. Essays in Social Psychology / ed., with an introduction, by M.J. Deegan. New Brunswick: Transaction Publishers, 2001.*

данной в 2011 г.¹⁹, была опубликована большая подборка ранее не публиковавшихся текстов Мида о войне, мире, насилии и национальном государстве. И тогда же, в 2011 г., вышли под одной обложкой очерки Мида о проблемах образования²⁰.

Итак, перед нами необычный классик, корпус текстов которого спустя 80 лет после его кончины продолжает меняться. Каждая новая публикация представляет его с новой стороны, словно иллюстрируя один из тезисов «Философии настоящего», состоящий в том, что каждое новое настоящее создает своими эмердженциями новое прошлое и что не может быть прошлого, независимого от настоящего. С каждым неожиданным обновлением корпуса текстов Мида рождается новая перспектива для рассмотрения его наследия. При этом старые перспективы никуда не исчезают, и мы находим сложные наслоения одних толкований его идей на другие.

Странности классичности Мида, однако, этим не исчерпываются. К исторической подвижности корпуса его текстов добавляется необычность рецепции его наследия. Не раз отмечалось, что, в отличие от коллег-прагматистов Дж. Дьюи и У. Джеймса, Мид получил широкую известность за пределами философского сообщества²¹. Обратной стороной этого было то, что в философии его идеи не получили скольнибудь серьезного осмысления и развития²². В фило-

¹⁹ *Deegan M.J.* Self, War, and Society: George Herbert Mead's Macrosociology. New Brunswick: Transaction Publishers, 2011.

²⁰ *Mead G.H.* The Philosophy of Education / ed. by G.J.J. Biesta, D. Troehler. Boulder, CO: Paradigm Publishers, 2011.

²¹ *Aboulafia M.* George Herbert Mead // The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2012 Edition) / ed. by E.N. Zalta. <<http://plato.stanford.edu/archives/sum2012/entries/mead/>>.

²² Э.Дж. Рек в 1963 г. констатировал, что Мид «не вошел в «каноническую шестерку», составляющую «классическую

софии XX в. Мид оставался фигурой периферийной, никогда даже близко не приближаясь в «популярности» к таким, например, философам, как Э. Гуссерль, М. Хайдеггер или М. Фуко. Рецепция его идей происходила почти всецело в социологии и социальной психологии, и большинство монографий о Миде посвящены главным образом той стороне его наследия, которая воспринималась как важная для этих наук²³.

американскую” философию, и даже исключен из научных исследований американской прагматической мысли» (*Reck A.J. The Philosophy of George Herbert Mead (1863–1931) // Tulane Studies in Philosophy. 1963. Vol. 12. P. 5*).

²³ Серьезные публикации о Миде начинают появляться в 1950–1960-е годы, особенно много их становится в 1990-е годы. Вот наиболее важные: *Aboulafia M. The Cosmopolitan Self: George Herbert Mead and Continental Philosophy. Urbana; Chicago: University of Illinois Press, 2001*; *Aboulafia M. (ed.) Philosophy, Social Theory, and the Thought of George Herbert Mead. Albany: SUNY Press, 1991*; *Baldwin J.D. George Herbert Mead: A Unifying Theory for Sociology. Dubuque, Ia: Kendall Hunt, 2002*; *Blumer H. George Herbert Mead and Human Conduct / ed., with an introduction, by T.J. Morrione. Walnut Creek, CA: AltaMira Press, 2004*; *Burke F.T., Skowroński K.P. (eds). George Herbert Mead in the Twenty-First Century. Lanham (Md): Lexington Books, 2013*; *Cook G.A. George Herbert Mead, The Making of a Social Pragmatist. Urbana (IL): University of Illinois Press, 1993*; *Corti W.R. (ed.). The Philosophy of G.H. Mead. Winterthur: Amriswiler Bucherei, 1973*; *Deegan M.J. Self, War, and Society: George Herbert Mead’s Macrosociology. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 2008*; *Goff T. Marx and Mead: Contributions to a Sociology of Knowledge. L.; N.Y.: Routledge, 1980*; *Gunter P.A.Y. Creativity in George Herbert Mead. Lanham, Md.: University Press of America, 1990*; *Hamilton P. George Herbert Mead: Critical Assessments. 4 vols. L.; N.Y.: Routledge, 1992*; *Joas H. G.H. Mead: A Contemporary Re-Examination of His Thought. Cambridge, MA: The MIT Press, 1985*; *Lewis G.D., Smith R.L. American Sociology and Pragmatism: Mead, Chicago Sociology, and Symbolic Interaction. Chicago: University of Chicago Press, 1980*; *Miller D. George Herbert Mead: Self, Language, and the World. Austin, Tex.: University of Texas Press, 1973*; *Mutaawe Kasozi F. Self and Social Reality in a Philosophical Anthropology: Inquiring into George Herbert Mead’s Socio-Philo-*

Рецепция его наследия была ограниченной и избирательной²⁴.

Специфическая избирательность рецепции идей Мида имела место и в социологии, где их влияние было особенно заметным. Долгое время практически единственной книгой Мида, которую читали социологи (притом не все, а преимущественно те, кто был связан с чикагской социологической традицией и символическим интеракционизмом), была книга «Разум, Я и общество». То, что, например, Г. Блумер (один из ключевых популяризаторов идей Мида) во второй половине XX в. рекомендовал студентам для

sophical Anthropology. N.Y.: Peter Lang, 1998; *Natanson M.* The Social Dynamics of George H. Mead. Washington, DC: Public Affairs Press, 1956; *Pfuetze P.E.* Self, Society, Existence: Human Nature and Dialogue in the Thought of George Herbert Mead and Martin Buber. N.Y.: Harper and Row, 1961; *Rosenthal S.B., Bourgeois P.L.* Mead and Merleau-Ponty: Toward a Common Vision. Albany: SUNY Press, 1991; *Silva F.C. da.* Mead and Modernity: Science, Selfhood, and Democratic Politics. Lanham, Md.: Lexington Books, 2008; *Victoroff D.* G.H. Mead sociologue et philosophe. P.: Vrin, 1953; *Waal C. de.* On Mead. Belmont, CA: Wadsworth Publishing, 2001; *Wenzel H.* George Herbert Mead zur Einführung. Hamburg: Junius, 1990; *Westlund O.* S(t)imulating a Social Psychology: G.H. Mead and the Reality of the Social Object. Uppsala: Uppsala University Library, 2003.

В России наследие Мида остается почти неосвоенным. До недавнего времени российская *Мидиана* ограничивалась небольшим количеством статей и глав в учебных пособиях и монографиях (Л.Г. Ионин, Ю.К. Мельвиль, Д.Н. Шалин) и отдельными публикациями фрагментов из Мида в журналах и антологиях. В 2006 г. вышла первая (и до сих пор единственная) монография о Миде на русском языке: *Кравченко Е.И.* Указ. соч. Единственной книжной публикацией текстов Мида был сборник: *Мид Дж.Г.* Избранное: Сб. переводов / сост. и пер. В.Г. Николаев; отв. ред. Д.В. Ефременко. М.: ИНИОН РАН, 2009.

²⁴ Так, например, осталась «проигнорированной» книга «Течения мысли в XIX столетии». Именно так эта книга была представлена в докладе Ч. Камика на конференции 2013 г. См.: *Huebner D.* George Herbert Mead at 150. P. 8.

чтения «Философию настоящего»²⁵, мало что поменяло²⁶. Книга «Разум, Я и общество» до сих пор остается главным «социологическим» трудом Мида; об этом говорит содержание статей в словарях и энциклопедиях, обычно ограничивающееся набором ключевых тем этой книги. Важно добавить, что даже этот труд был воспринят очень избирательно; так, содержание второй его половины почти никак не отразилось на социологии, а акцент на первой его части способствовал дрейфу символического интеракционизма в сторону интерпретативной социологии и радикального социального конструкционизма, в отношении которых у Мида были предусмотрительно заложены серьезные ограничения и противовесы.

Избирательность рецепции идей Мида социологами относится не только к выбору той части его наследия, которая сохраняется в качестве актуальной классики (хотя бы для учебных целей в рамках университетских курсов). Она проявляется и в другом. Социология, как обширная и внутренне очень дифференцированная область знания, подверглась неравному воздействию

²⁵ Блумер «считал, что Мидовское понятие “эмерджентности” и перспектива, которую Мид защищал в “Философии настоящего”, способны вызвать “удивительно продуктивную революцию” в мышлении о природе социального мира и о том, как его следует изучать» (*Morrione T.J. Editor's Introduction // Blumer H. George Herbert Mead and Human Conduct. P. 2*).

²⁶ Так, М.Дж. Флаэрти и Г.А. Файн отмечают: «...Можно смело сказать, что большинство социальных ученых не знакомо в полной мере с точкой зрения Мида на темпоральность, отчасти в силу ее сложности и контринтуитивных качеств... Более того, центральность времени в мысли Мида малоизвестна, возможно, в силу того, что он мало говорит о темпоральности в своей самой известной книге “Разум, Я и общество”... Как бы там ни было, мы согласимся с утверждением Йоаса: “Философия времени Мида — несомненно, наименее понятная и наименее проясненная часть его работы”. И это несмотря на важность времени в мысли Мида» (*Flaherty M.G., Fine G.A. Op. cit. P. 148*).

мидовской мысли в разных своих частях и подразделах. Если взять отдельно эмпирическую социологию, то наиболее глубокое воздействие идущей от Мида традиции обнаруживается в тех ее областях, в которых было наиболее заметно влияние Чикагской школы и символического интеракционизма: в социологии медицины, социологии эмоций, социологии профессий, исследованиях «социальных проблем» и т.д. Даже в этих областях воздействие это никогда не было прямым, а всегда через «вторые», «третьи», «четвертые» руки; оно проявляло себя скорее на уровне «общих идей», чем в сколько-нибудь конкретной форме; даже в них практически ни один термин Мида не стал частью рабочего научного языка. В несколько более широком круге исследований косвенное влияние идей Мида слилось до неразличимости с иными влияниями под такими общими рубриками, как «интерпретативизм» и «конструкционизм»; здесь Мид может упоминаться в исторических «обзорах» в ряду других фигур или даже не упоминаться вовсе. Вне этого круга влияние Мида на социологию (и социальную психологию) близко к нулю. Важным было влияние Мида на социальную феноменологию А. Шюца и феноменологическую социологию, но в них оно настолько переработано, что ныне прямые обращения к Миду уже не требуются. Нередко говорят о влиянии Мида на таких крупных социологов XX в., как Т. Парсонс, Ю. Хабермас, Н. Луман и Э. Гидденс²⁷, но влияние это было лишь частичным и никак не определяющим.

Итак, перед нами — очень странный классик. Его признают, но мало читают. Те, кто читает, читают его, как правило, очень выборочно, руководствуясь своими специальными дисциплинарными интересами и не охватывая философию Мида во всем объеме. Таким образом, освоение его идей характеризуется высо-

²⁷ См., например: *Flaherty M.G., Fine G.A. Op. cit. P. 148; Silva F.C. da. Op. cit.*

кой степенью фрагментарности²⁸. Часто одно его имя служит самодостаточным символом, употребление которого не предполагает необходимости заглянуть за эту символическую завесу и выяснить, что же на самом деле за ней скрывается. Содержательно же этот символ наполнен до крайности скудно. Чаще всего в нем обнаруживаются либо общие идеи прагматизма, роднящие Мида с другими прагматистами и обычно выраженные отнюдь не его языком, либо небольшой набор идей и понятий самого Мида, фрагментарно выхваченных из целостности его мысли и обычно тиражируемых словарными и энциклопедическими статьями и учебниками, либо некая комбинация того и другого. Такие особенности рецепции характерны для очень многих «классиков», но в случае Мида они гипертрофированы до предела и усугублены природой и историческими обстоятельствами формирования его «наследия». В итоге, на что часто указывают специалисты, мы имеем не одного Мида, а множество разных фрагментарных Мидов, которые образуют мозаику, но никак не складываются в целостную картину. Как сам Мид не смог свести свои идеи в единую, целостную «систему», так не сделали этого и его последователи. К этому можно по-разному относиться, но с этим нельзя не считаться.

В какой-то степени для того, в каком состоянии находится сегодня «мидоведение», показательны слова М. Абулафии, открывающие его редакторское предисловие к одному из недавних сборников критических работ о Миде: «Я никоим образом не собираюсь

²⁸ Это иногда специально отмечается в критической литературе. Например: «К тому же, в силу внешне фрагментарного характера его работ, судьба теоретической рефлексии Джорджа Г. Мида, в сущности, часто сопровождалась ограниченным использованием его плодотворных идей» (*Nieddu A.M.* [Review]: Filipe Carreira da Silva. Mead and Modernity, Science, Selfhood and Democratic Politics // *European Journal of Pragmatism and American Philosophy*. 2011. Vol. III. No. 2. P. 300).

дать окончательное научное прочтение зрелой мысли Мида, которое, даже если и возможно, потребовало бы отдельной существенной работы»²⁹. Так же, как и корпус работ Мида, освоение его идей сохраняло вплоть до последнего времени незавершенность. И, опять же, такая незавершенность свойственна любой «живой» классике, однако в случае Мида она присутствует в избыточном, гипертрофированном, чуть ли не экстравагантном виде.

ПРАГМАТИЗМ

И «ФИЛОСОФИЯ НАСТОЯЩЕГО»

В каком-то смысле, мы не будем здесь отступать от традиции неокончателности, сложившейся в рассмотрении идей Мида. Во всяком случае, не будем пытаться сделать то, от чего уходят в своих вступительных статьях к «Философии настоящего» Мерфи и Дьюи, тем более что в предисловии Мерфи основные идеи книги представлены вполне ясно и связно. Детальный систематический обзор философии Мида не может входить в задачи небольшого по объему послесловия. Вместо этого мы обратимся к другой задаче: поместить «Философию настоящего» в контекст философии Мида как того целого, частью которого она так или иначе является. При этом мы исходим из того, что этот контекст как каркас, в котором разворачивается поздняя мысль Мида, в целом довольно устойчив.

Центральные понятия в философии Мида — «опыт» и «поведение». В соответствии с общими посылками прагматизма, мир, в котором мы живем и действуем, который мы каким-то образом знаем, о котором мы можем думать и говорить, который мы можем при каких-то обстоятельствах делать предметом своих ис-

²⁹ *Aboulafia M. Introduction // Aboulafia M. (ed.) Philosophy, Social Theory, and the Thought of George Herbert Mead (SUNY Series in Philosophy of the Social Sciences). Albany, N.Y.: State University of New York Press, 1991. P. 1.*

следований, — это мир, данный нам в опыте. Мид никогда не ставит под сомнение, что за этой данностью в опыте что-то стоит³⁰, и это что-то даже неизменно проявляет себя в опыте как сопротивление; однако в этой трансцендентности мы не живем и не действуем, и спекуляции о ней лишены всякого практического значения. Позиция Мида в этом отношении не просто антиметафизична, а подчеркнута антиметафизична. Практически значимое познание может быть направлено и всегда направлено именно на этот мир. Только этот мир интересен нам с практической точки зрения в нашей познавательной деятельности, как обыденной, так и научной³¹.

³⁰ Для Мида «мир вне нас» (world out there) так же реален, как и наличный мир (world that is there); он дан в опыте через сопротивление действию, но находится за пределами знания и понимания. Позиция Мида хорошо систематизирована Г. Блумером: «1. Есть мир реальности “вне нас” (out there), который противостоит людям и способен сопротивляться действиям в отношении него. 2. Этот мир реальности становится известен людям только в той форме, в которой он воспринимается людьми. 3. Таким образом, эта реальность изменяется, когда люди развивают новые восприятия ее. 4. Сопротивление мира восприятиям его служит проверкой достоверности этих восприятий» (*Blumer H. Mead and Blumer: The Convergent Methodological Perspectives of Social Behaviorism and Symbolic Interactionism // American Sociological Review. 1980. Vol. 45. No. 3. P. 410*).

³¹ Этот эмпирический фокус познания подчеркивается, например, в следующей чеканной формулировке Мида: «Проблемы социальной теории должны быть исследовательскими проблемами» (*Mead G.H. Scientific Method and the Moral Sciences // International Journal of Ethics. 1923. Vol. 33. No. 3. P. 243–244*). Более развернутую формулировку мы находим в очерке «Научный метод и индивидуальный мыслитель»: «Концепция существующего мира... есть результат определения в данный момент условий решения данных проблем. Эти проблемы задают условия поведения, а итоги поведения могут быть определены лишь постольку, поскольку мы сознаем те возможности, которые несут с собой меняющиеся условия. Наш мир реальности, таким образом, становится

Опыт неотделим от практической деятельности организмов в их среде, т.е. от их взаимодействия с этой средой. Организмы (или, как предпочитает говорить Мид, «живые формы», или просто «формы») и их среда являются аспектами процесса взаимодействия и обретают определенность, т.е. становятся такими, какие они есть, в этом процессе³². Любая деятельность живых форм, со всеми свойствами этих форм и этой деятельности, должна рассматриваться в контексте этого объемлющего процесса, в который включена и среда со всеми ее свойствами. Опыт же, в каком-то смысле, соразмерен этому процессу взаимодействия.

Неотделимость опыта от практической деятельности предполагает локальность его в пространстве и

независимым от любых особых целей, и мы достигаем полностью беспристрастного знания. И тем не менее ценность и значимость этого знания обнаруживаются в нашем поведении и в наших непрерывно меняющихся условиях...

Научный метод индифферентен к миру вещей-в-себе... Это не метод познания неизменного, а метод определения формы мира, в котором мы живем, по мере того как он меняется от момента к моменту. Он пытается рассказать нам о том, что, как мы можем ожидать, случится, если мы будем действовать таким-то и таким-то образом... У науки всегда есть мир реальности для проверки ее гипотез, но этот мир — не мир, независимый от научного опыта, а тот непосредственный мир, который нас окружает, когда мы должны действовать. Возможно, наше следующее действие обнаружит эти условия всерьез изменившимися, и тогда наука будет формулировать этот мир так, чтобы мы, ввиду этой проблемы, могли логически выстроить наш следующий план действия» (*Mead G.H. Scientific Method and Individual Thinker // Dewey J. et al. Creative Intelligence: Essays in the Pragmatic Attitude. N.Y.: Henry Holt and Co., 1917. P. 224–226.*)

³² Мид говорит о взаимном определении формы и среды. Среда оказывает определяющее влияние на форму, а форма своей особой селективной «восприимчивостью» определяет свою среду. Это взаимное влияние рассматривается у Мида в индивидуальном и коллективном аспектах. Соответственно, разные формы живут в разных средах. См., например: *Мид Дж.Г. Избранное...* С. 183–190, 236–240.

времени. Чаще всего для обозначения этой локальности в философии употребляется термин «здесь и сейчас». У Мида сложнее: пространственной локализацией является «область манипулирования», а временной — длящееся настоящее³³, «протекание», «переход» (passage), нечто вроде бергсоновского *durée*. Такая локализация, с точки зрения Мида, делает бесполезными и бесплодными рассуждения о деятельности и опыте вообще и привязывает их к локальным обстоятельствам их протекания, делая их неотделимыми от этих обстоятельств. Так в его философию входят в качестве необходимых компонентов понятия новизны и эмерджентности; любой опыт и любая деятельность развертываются в ситуации, в которой всегда может появиться что-то новое и эмерджентное, к чему нужно так или иначе приспособиться, чтобы сама эта деятельность могла продолжаться.

Опыт и организация деятельности эволюционно развиваются от простейших до в высокой степени сложных. Наивысшей сложности они достигают у человека. Это связано с возникновением и развитием разума (mind) и Я. Разум при этом не отождествляется с сознанием; в отличие от сознания, принадлежащего индивиду, разум локализуется у Мида в процессе взаимодействия и соотносится с реализующимся в нем порядком³⁴. Развитие Я, отождествляемого со способ-

³³ Мид называет его «мнимым настоящим» (specious present), характеризуя его так: «Наше мнимое настоящее как таковое очень непродолжительно. Тем не менее мы переживаем протекающие события; часть процесса протекания событий непосредственно присутствует в нашем опыте, в том числе часть прошлого и часть будущего» (Мид Дж.Г. Избранное... С. 167). Более подробную характеристику см.: Мид Дж.Г. Мнимое настоящее // Мид Дж.Г. Избранное... С. 232–235 (фрагмент из книги «Философия акта»).

³⁴ Так, Мид пишет, что «разум развивается и имеет свое бытие только в социальном процессе опыта и деятельности, который он... предполагает, и только благодаря ему, и... никаким иным образом разум развиваться и иметь бытие не мо-

ностью формы, или организма, принимать установку другого, т.е. быть объектом для самого себя, вообще быть другим, привносит в деятельность рефлексивность. Строго говоря, Я и есть инкорпорированный в деятельность организма рефлексивный процесс³⁵. В этом смысле Мид емко определяет человека как «организм, обладающий Я»³⁶.

С появлением Я появляется и самосознание, или сознание Я. Объективация Я в самосознании делает возможным представление Я как объекта в соотношении с другими объектами. В социально-психологических изысканиях Мида делается особый упор на его соотношенность с другими людьми, описываемую как принятие ролей и установок других и в конечном

жет...» И еще: «мы оппонируем всем взглядам на его характер и локус, размещающим его внутри черепа или кожной оболочки. Ведь из нашей социальной теории разума следует, что область разума должна быть соразмерна области социального процесса опыта и поведения... и должна включать все ее компоненты. Если разум социально конституирован, то область или локус любого данного индивидуального разума должны иметь ту же протяженность, что и социальная деятельность, или аппарат социальных отношений, который его конституирует; следовательно, эта область не может быть ограничена кожной оболочкой того индивидуального организма, которому она принадлежит» (Мид Дж.Г. Избранное... С. 179). См. также о сознании: Мид Дж.Г. Я и субъективное // Мид Дж.Г. Избранное... С. 156–164 (глава 21 книги «Разум, Я и общество»).

³⁵ См., например: Мид Дж.Г. «I» и «me»; «I» и «me» как фазы Я // Мид Дж.Г. Избранное... С. 165–177 (главы 22, 25 книги «Разум, Я и общество»). См. также подробные разъяснения о Я как рефлексивном процессе у Г. Блумера: Блумер Г. Социологические импликации мышления Джорджа Герберта Мида // Социальные и гуманитарные науки. Сер. 11. Социология. 2008. № 1. С. 115–117; Blumer H. George Herbert Mead and Human Conduct... P. 57–68.

³⁶ О соотношении организма и Я см.: Мид Дж.Г. Я и организм // Мид Дж.Г. Избранное... С. 146–155 (глава 18 книги «Разум, Я и общество»).

счете обобщенного (или генерализованного) другого. Однако этим дело не ограничивается. В конце концов, принятие любой роли равнозначно установлению связи Я с особым образом отобранным множеством объектов, втянутых в деятельность, через которую практически реализуется эта роль (причем речь идет обо всех объектах — не только о природных вещах, но и об артефактах, ментальных объектах и т.д.). Такие связи, становясь устойчивыми, формируют идентичность Я, или «те»; эта устойчивость и эта идентичность реализуются в деятельности и через деятельность. Вместе с тем в любой деятельности как развертывающемся процессе всегда возникают новые обстоятельства и эмердженции; деятельность всегда есть развертывающийся процесс приспособления и переприспособления, и в этом процессе, происходящем в настоящем, Я присутствует как «I», как нетождественная фаза Я, как становление другим. Диалектическая связь «I» и «те» как фаз Я-процесса осуществляется в живой деятельности как связь прошлого опыта с текущим (настоящим), перетекающая в будущее. В литературе о Миде социальность обычно связывают с той стороной Я, которую Мид называет «те», однако это не совсем так. Социальность свойственна самой диалектике «те» и «I»: если первая из этих фаз соотносится с устойчивым структурированием образующих общество взаимодействий, или социальной организацией, то вторая — с приспособлением к меняющимся условиям, с социальным изменением, т.е. социальной дезорганизацией и реорганизацией. Подобно тому как Я изначально социально как таковое, и рефлексивное мышление, становящееся возможным благодаря объективации Я и способности соотносить его в опыте с другими объектами, обладает как таковое сущностно социальным характером. Эта социальность — обратим еще раз на это внимание — осуществляется в настоящем, в развер-

тывающейся деятельности и является конститутивной для организации этой деятельности.

Организацию рефлексивно опосредованной деятельности (поведения, *conduct*) Мид противопоставил уотсоновской модели простого реагирования на стимулы, описывающей поведение дочеловеческих живых форм. В первом приближении, это противопоставление можно охарактеризовать как замену схемы «стимул — реакция» («S—R») схемой «стимул — интерпретация — реакция» («S—I—R») ³⁷. Эволюционное появление разума и Я несут с собой это преобразование в организации поведения, ярче всего выраженное в отсрочке реакции, ее предварительном продумывании, выборе, принятии продуманного решения. Эта схема описания человеческого поведения, получившая развитие в книге «Разум, Я и общество», стала основополагающей для символического интеракционизма. Сам Мид называл эту перспективу «социальным бихевиоризмом», в противовес «бихевиоризму» Уотсона ³⁸.

Наиболее проработанную модель рефлексивной организации поведения у Мида мы находим, однако, в другой книге — «Философии акта». Это схема «акта» ³⁹. В акте Мид аналитически выделил четыре

³⁷ *Flaherty M.G., Fine G.A. Op. cit. P. 149.*

³⁸ См. в особенности: Мид Дж.Г. Социальная психология и бихевиоризм // Мид Дж.Г. Избранное... С. 138–145 (глава 1 книги «Разум, Я и общество»).

³⁹ Термин «акт» в названии книги часто переводят как «поступок», или «действие». Первый вариант абсолютно неприемлем по смыслу, второй — приемлем. Однако в англоязычной литературе использование слова «act», а не «action», лексически выделяет Мида среди других теоретиков действия. Поэтому из соображений аутентичности резоннее передавать этот термин как «акт». Такой вариант перевода мы находим, например, у Ю.К. Мельвиля (Современная буржуазная философия / под ред. А.С. Богомолова, Ю.К. Мельвиля, И.С. Нарского. М.: Высшая школа, 1978. С. 72–74).

фазы: импульс, перцепцию, манипуляцию, консуммацию⁴⁰. В литературе их часто называют «стадиями»⁴¹, но правильнее говорить именно о «фазах», и это принципиально: в процессе деятельности они не выстраиваются хронологически как последовательность; все эти фазы присутствуют в деятельности одновременно и связаны циркулярно, как замкнутая цепь. Такая трактовка их связи соответствует трактовке связей между разными аспектами поведения в классической работе Дьюи о рефлекторной дуге⁴² и является в некотором смысле ее развитием⁴³. «Акт» у Мида выступает аналитической единицей для прояснения логики протекания человеческого действия в живом настоящем. Образцовым случаем здесь служит акт решения научной проблемы, однако схема акта применима и к деятельности, связанным с невысокими уровнями осознанности. Здесь мы отдельно остановимся на двух фазах: перцепции и манипуляции (которые и сам Мид выделяет как наиболее важные).

«Перцепция» в схеме акта понимается Мидом в широком смысле, охватывая весь диапазон от простого чувственного восприятия до сложных умственных построений для упорядочения/переупорядочения воспринимаемой ситуации. К этой фазе акта относятся такие компоненты осмысленного поведения, как сознание и самосознание, интерпретация, формирова-

⁴⁰ *Mead G.H. The Philosophy of the Act.*

⁴¹ См., например: *Reck A.J. Op. cit.* P. 17 и далее. В книге «Философия акта» термин «стадия» тоже используется, но термин «фаза» используется чаще и больше соответствует духу предлагаемых Мидом рассуждений.

⁴² См.: *Дьюи Дж. Понятие рефлекторной дуги в психологии // Интеракционизм в американской социологии и социальной психологии первой половины XX века: Сб. переводов. М.: ИНИОН РАН, 2010. С. 70–84.*

⁴³ *Reck A.J. Op. cit.* P. 14. Рек (там же) называет понятие акта «ключом» к мидовскому «конструктивному прагматизму».

ние объектов и придание им значений, продумывание будущего поведения и его репетиция в воображении, взвешивание альтернатив, выбор, принятие решений и т.п.; здесь, в этой фазе, в акт входит рефлексивный процесс; здесь действительно функционируют символы и системы символов. Все это относится прежде всего к наиболее продуманным и сознательно контролируемым человеческим действиям, образцовый случай которых Мид видит в решении научной проблемы ученым. Между тем в его представлении нет непреодолимой пропасти между рациональностью ученого и рациональностью обывателя: деятельность в обоих случаях направлена на решение проблем; любые средства, используемые для этого, имеют инструментальный характер. Более того, он считает, что человеческое мышление — включая самые развитые его формы, находящиеся в науке, — есть эволюционное развитие приспособительных механизмов, находящихся в низших формах жизни⁴⁴. Таким образом, в силу столь широкого понимания «перцепции», мидовская схема акта позволяет собрать в один ряд не только человеческие деятельности разных степеней когнитивной сложности и осознанности, но и функционально аналогичные им организации поведения у животных. Это отличает схему акта Мида от большинства социологических теорий действия.

⁴⁴ По Миду, исследовательская наука есть «всего лишь эволюционный процесс, доросший до самосознания» (*Mead G.H. Movements of Thought...* P. 364), и «животное делает то же, что делает ученый» (*Ibid.* P. 346). А.Дж. Рек поясняет это так: «...Проблемные ситуации, с которыми справляется научный метод, подобны препятствиям, с которыми борются животные. Оба набора проблем нарушают деятельность, будь то деятельность интеллекта или мышечно-моторные деятельности организмов» (*Reck A.J. Op. cit.* P. 8). См. также: *Мид Дж.Г. Процесс разума в природе* // Мид Дж.Г. Избранное... С. 241–280 (глава XXI «Философия акта»).

Включение в схему акта «манипуляции» — физического вмешательства во внешний мир, прямого контакта с объектами, в том числе физическими вещами, — также отличает ее от большинства теорий действия. Оно, во-первых, локализует действие в пространстве («области манипулирования»), во-вторых, выносит действие за пределы чисто смысловых связей и заземляет его в физическом мире, в-третьих, включает в действие объекты этого мира. В отличие от теорий, трактующих действие абстрактно и «подвешивающих» его вне пространства и времени, мидовская схема инкорпорирует действие в физический мир, как тот присутствует в опыте⁴⁵. Будучи пространственно локализованным, акт локализуется и во времени — в настоящем — как развертывающийся акт.

В процессе «манипуляции» подвергаются проверке гипотетические интерпретации, вырабатываемые в фазе «перцепции». В связи с этим у Мида появляется тема контактного и дистанционного опытов, многократно разбираемая им с разных сторон в разных текстах, и подчеркивается особая роль первого в проверке любых гипотез о мире (у Мида любое восприятие мира, любое представление о мире наделяются

⁴⁵ Это различие настолько существенно, что порождает совершенно разные эмпирические социологии. Для эмпирических социологий, выросших в русле прагматистских посылок, принимаемых Мидом (например, чикагских социологий), характерен как родовая черта акцент на «натуралистическом исследовании» и проведении наблюдений *in situ*. Эта черта, наряду с другими, радикально отличает их от эмпирических социологий, выросших на основе даже такой «близкой» к прагматизму традиции, как феноменология.

Связь сознания и «понятийного процесса» с потоком практической деятельности у Мида (в частности, связь концепции с перцепцией и их обеих с проблемной ситуацией, т.е. эмерджентностью) хорошо прописана в ранней работе Г. Блумера: *Блумер Г. Наука без понятий // Интеракционизм в американской социологии...* С. 299–317.

гипотетическим характером⁴⁶). В контактном опыте Мид находит прототипический образец проверки подобных гипотез — сопротивление манипуляторным усилиям, оказываемое физическими вещами. Именно это сопротивление устанавливает первичные границы для произвола в «перцепциях». Однако с эволюционным усложнением деятельности и ее социальной организации к этому типу сопротивлений добавляются еще сопротивления ментального и социального характеров⁴⁷. Деятельность разворачивается в условиях, включающих все виды объектов: и физические (природа), и психические (накопленный индивидуальный опыт в виде схем интерпретации и привычек), и социальные (накопленный коллективный опыт и социальная организация). Любая удачная интерпретация, удачность которой удостоверяется действенным решением проблемы в ходе манипуляции, оказывается своего рода компромиссом между природой, психикой и обществом. Так в опыте и поведении происходит удостоверение реальности, и темпоральным локусом этого процесса оказывается делящееся настоящее.

При этом акт не размещается в заранее готовом настоящем, он его создает своим протеканием — вместе с соответствующими ему прошлым и будущим (поскольку настоящее неразрывно связано с конкретной разворачивающейся деятельностью, а в этих деятельности всегда присутствуют эмерджентии, то разные настоящие создают разные прошлые и будущие).

⁴⁶ Так, например, в очерке «Прагматическая теория истины» Мид пишет: «Что такое мир, как не непрерывная рабочая гипотеза, мысленная структура, находящаяся в процессе постоянного завершения по мере того, как проблемы возникают то тут, то там?» (цит. по: Современная буржуазная философия... С. 80).

⁴⁷ Мидовская трактовка объектов хорошо систематизирована Г. Блумером: *Блумер Г. Социологические импликации мышления... С. 122–124; Blumer H. George Herbert Mead... P. 39–55.*

Реальность оказывается размещенной в настоящем как изменчивая, проверяемая и перепроверяемая, конструируемая и реконструируемая реальность. Людям дана в опыте только эта реальность; и это — тот мир, в котором они практически живут и к которому им приходится постоянно приспосабливаться и переприспосабливаться. А коль скоро деятельность имеет событийный характер, то мир оказывается «миром событий». С этих базовых положений начинаются Карусовские лекции Мида.

Оригинальность философии Мида состоит — по крайней мере отчасти, но далеко не в последнюю очередь — в широчайшей генерализации тех принципов, которые были им получены в рамках его социологического (социально-психологического) анализа опыта и поведения. Отношения между философией и социологией, которые до этого безраздельно господствовали, оказываются перевернутыми: не философия мыслится как царица наук, устанавливающая принципы для разных наук, в том числе социологии, а социология (или, что у него то же самое, социальная психология) оказывается ключом к решению основных философских вопросов. Основания для этого находятся в глубоком родстве социальности, обнаруженной им в сердцевине опыта и деятельности, и той социальности мироздания, на которую указывали, с его точки зрения, новейшие достижения в физике и математике, связанные с развитием теории относительности. Во Введении к «Философии настоящего» А. Мерфи не скрывает удивления этим шагом в развитии мысли Мида. Нельзя сказать, что и сегодня этот шаг выглядит совершенно естественным. Здесь для Мида, по-видимому, важны следующие соображения.

Во-первых, его прагматистская позиция требует познания того мира, который дан нам в опыте, неотрывном от нашего практического взаимодействия с этим миром. Это не только мир людей, но и природный мир. Какие-то свойства нашего опыта одинаковы для

взаимодействия с людьми и взаимодействия с нечеловеческими объектами — в том числе взаимодействия, сопряженного с познавательными усилиями (включая научные). Мир дан в опыте всегда событийно; в опыте всегда есть постоянство и изменение, идентичность (тождество) и эмерджентность. Мир не может быть сведен ни к постоянным его чертам, ни к новизне и изменчивости без ущерба для адекватности его мысленного представления. Все элементы взаимодействия обретают определенность в соотношении друг с другом; мир постоянно реконструируется в свете нового опыта, но одновременно с его реконструкцией реконструируются и его мысленные представления, и человеческие Я, организующие эти представления; здесь нет первичности и вторичности, а есть процесс переприспособления и реконструкции, в котором идеи и объекты «подгоняются» друг к другу⁴⁸.

Во-вторых, определенность представлений о мире достигается не в области чистой мысли, а в практическом опыте, постоянно подвергаясь в нем проверке в соотношении с сопротивлением со стороны объектного мира; соответственно, находясь в тех или иных культурах коллективные представления укоренены в особых организациях практической деятельности и не являются ни просто субъективными, ни просто интерсубъективными (если воспользоваться термином из феноменологии). Социальное взаимодействие — или социальность в широком смысле — связывает не

⁴⁸ Этот процесс взаимоподгонки идей и объектов — частный случай взаимоопределения среды и организма. В более простой эволюционной форме он может выглядеть так: «Не было, разумеется, такой вещи, как пицца, там, где не было организмов, способных к ее проглатыванию, перевариванию и усвоению. Столь же верно и то, что нет пиццы там, где в присутствии таких организмов не присутствует пицца. Пицца как объект существует в некоторой биологической ситуации, в которой обнаруживаются как органические формы, так и среда в адаптации друг к другу» (*Mead G.H. The Philosophy of Act. P. 71*).

только человеческих субъектов, но также субъекты и объекты⁴⁹ и одни объекты с другими⁵⁰. Социальность и перспективность мира, находящиеся в человеческом обществе, оказываются свойствами мира вообще, так же как разум — процессом, выросшим из природы и инкорпорированным в природу⁵¹. У Мида нет термина «интеробъективность», но в его философии он выглядел бы вполне уместно⁵².

⁴⁹ Приведем яркую цитату из «Философии акта»: «Например, орудуя топором, человек устанавливает с ним кооперативную связь и в соответствующей степени вносит внутрь этого объекта свое Я. Схожим образом и бревно, которое он рубит, будет в каком-то аспекте с ним сотрудничать. Этот процесс в сущности своей социален» (Мид Дж.Г. Избранное... С. 287).

⁵⁰ Так, например, в «Философии настоящего» Мид говорит о Солнечной системе как о социальной системе.

⁵¹ См.: Мид Дж.Г. Процесс разума в природе // Мид Дж.Г. Избранное... С. 241–280, а также очерк «Объективная реальность перспектив» в «Философии настоящего» (с. 203–217 наст. изд.).

⁵² На сходство идей Б. Латуре с идеями Мида указывал, например, Г.С. Беккер в интервью К. Пламмеру:

«ГБ: ...Если у вас есть этот образ человека, действующего так-то, а затем всех людей на сцене, действующих вместе и производящих все, что на сцене происходит, то вы просто расширяете эту идею.

КП: Да, но это верно не только для людей, это верно и для объектов тоже... Сам по себе объект ничто, но он требует этого коллективного действия вокруг себя.

ГБ: Да. Я нашел то многое, что Бруно Латур извлекает из нечеловеческих действий, очень полезным. Он говорит о нечеловеческих акторах, машинах. Латур определяет машину как то, когда у вас есть куча независимых частей и вы соединяете их вместе так, чтобы они начали контролировать поведение друг друга, подобно регулятору в двигателе. Это машина. Ну вот он говорит: “Люди вплетаются в машину, а машина вплетается в то, что они делают, и это можно представить как еще бóльшую машину”. Он по-другому говорит то же самое.

Для меня абсолютно удивительно, что Латур... я не думаю, что он, вероятно, до сегодняшнего дня прочитал хотя

Таким образом «принятие установок другого» соотносится с взаимоопределением объективно существующих перспектив, человеческие коллективы — с различного рода «согласованными множествами», диалектика «I» и «me» — с диалектикой эмерджентности и идентичности, событийности и вещности, человеческая социальность — с социальностью как «способностью быть несколькими вещами сразу», в самом широком смысле. Локусом, средоточием этого вездесущего социального процесса оказывается настоящее. Проблемы, создаваемые описанным поворотом философской мысли, как раз и обсуждаются Мидом в лежащей перед читателем книге.

Нельзя сказать чтобы идеи, развиваемые в этой книге Мидом, совсем не получили развития. В наибольшей степени востребованными они оказались в истории, социологии и социальной психологии. Дух относительности, пронизывающий изощренные рассуждения Мида о темпоральности, оказался удивительно созвучен нашему времени. Особенно явно это стало к концу XX в. Вместе с тем «применения» мидовских идей происходили, как правило, в отрыве — и зачастую уже независимо — от их первоисточника⁵³.

бы слово Джона Дьюи или Джорджа Герберта Мида, но это точь-в-точь прагматистская позиция» (*Plummer K., Becker H.S. Continuity and Change in Howard S. Becker's Work: An Interview with Howard S. Becker // Sociological Perspectives. 2003. Vol. 46. No. 1. Spring. P. 26–27*). Ср.: *Ламур Б. Об интеробъективности // Социологическое обозрение. 2007. Т. 6. № 2. С. 79–96.*

⁵³ М.Дж. Флаэрти и Г.А. Файн (*Flaherty M.G., Fine G.A. Op. cit. P. 148*) называют такие области исследования, базирующиеся на идущей от Мида трактовке темпоральности, как исследование «траекторий умирания» (Б. Глезер и А. Стросс), темпоральностей сознания (Н. Дензин) и культуры (Д.Р. Мейнс), переживания хронических болезней (Д.Р. Мейнс, К. Чармаз), вдовства (Х.З. Лопата), карьерных и семейных планов молодежи (Д.Р. Мейнс, М.Дж. Хардести), пауз в социальных ритмах (Р.П. Сноу, Д. Бриссетт), переживания работы на ре-

«Философия настоящего» была в каком-то смысле несвоевременной книгой, и сегодня, спустя несколько десятилетий после ее опубликования, потенциал заключенных в ней идей стал более очевидным. Во всяком случае, можно согласиться с Б. Адам, что анализ темпоральности, предложенный Мидом, остается «самой радикальной из всех социально-научных концептуализаций времени»⁵⁴. Чтение этой книги и сегодня может быть полезным и плодотворным.

ЯЗЫК МИДА: КОММЕНТАРИЙ ПЕРЕВОДЧИКА

В заключение остается сказать несколько слов о своеобразии языка Мида и о тех проблемах, с которыми сопряжено переложение его текстов на русский язык. При том, что «Философия настоящего» — одна из самых сложных книг Мида, она одновременно и одна из наиболее тщательно отредактированных; в ней практически нет тех грамматических и прочих языковых изъянов, которые свойственны мидовским рукописям.

При работе над переводом всячески учитывался накопленный в нашей литературе опыт передачи терминологии Мида русскими словами. Однако он оказался не во всех отношениях удовлетворительным и во многом недостаточным. Это потребовало серьезной работы по выстраиванию как русскоязычного понятийного аппарата Мида, так и особого стиля его текстов. Главным ориентиром была не благозвучность, а точность и ясность передачи смысла.

сторанных кухнях (Г.А. Файн), темпоральных аспектов девиантности (В.А. Ризе, М.А. Катович), природы социальных прошлых (М.А. Катович) и т.п. Тематическое своеобразие этих исследований прямо связано с ограниченностью проникновения символического интеракционизма в тематическое поле социологии.

⁵⁴ *Adam B. Timewatch: The Social Analysis of Time. Cambridge: Polity Press, 1995. P. 78.*

Язык Мида отличен не только от обыденного языка, но и от других философских языков, в том числе отчасти и прагматистских. Его своеобразие связано в значительной мере с попыткой Мида подобрать адекватные языковые средства описания темпоральных параметров опыта. Первое, что бросается в глаза, — это довольно необычное пользование грамматическими временами. При описании опыта и деятельности в настоящем глаголы обычно употребляются в настоящем продолженном времени. В силу разницы систем грамматических времен в английском и русском языках эту особенность текстов Мида не всегда возможно передать; но при чтении Мида в русском переводе ее всегда полезно иметь в виду. Есть особенности и в использовании других временных конструкций.

Некоторые терминологические связи в русском переводе неизбежно теряются, в том числе — что особенно важно — связи между терминами, выстроенными для описания темпоральной организации опыта и деятельности.

Так, с термином *present* («настоящее») напрямую связаны прилагательное *present* и существительное *presence*, используемые для описания данных в непосредственном опыте объектов; в переводе они передаются такими словами, как «присутствие», «наличие», «присутствующий», «наличествующий», «наличный», «присутствует», «наличествует», «в наличии». Термин *specious present* (заимствованный у У. Джеймса) переводится, согласно установившейся традиции, как «мнимое настоящее»; имеется в виду настоящее, каким оно мнится, воспринимается, без коннотаций с неистинностью. Описание данностей опыта как *present* (присутствующих, наличествующих) часто тождественно у Мида описанию их как того, что *is there*; этот оборот передается с помощью того же ряда слов — «присутствует», «есть в наличии», иногда просто «есть». *Is there* противопоставляется *out there*. Граница между ними устанавливается присутствием/отсутствием в

перцепции, знанием/незнанием: присутствие в опыте «мира вне нас» (world out there) ограничивается его сопротивлением усилиям, предпринимаемым человеком в практическом действии, а «мир, который есть в наличии» (world that is there) — это объектный мир, предстающий человеку в перцепции⁵⁵.

Понятие *past* («прошлое») связано как однокоренное с целым рядом важных для Мида понятий и описательных терминов: *to pass* («протекать», «проходить», «уходить»); соответственно *the past* — то, что уже «истекло», «прошло», «ушло» или миновало, т.е. «прошлое», «минувшее»), *passing* (как причастие — «протекающий», «про(ис)ходящий»; как герундий — «протекание», «прохождение», «уход»), *passage* («переход», «протекание», «прохождение»).

Поскольку «настоящее», «прошлое» и «будущее» у Мида привязаны к действию, всегда протекающему в конкретной ситуации, а ситуаций и действий может быть сколько угодно много, то все они переводимы во множественное число: «настоящие» (*presents*), «прошлые» (*pasts*), «будущие» (*futures*). Для русского языка это очень необычно, но так же необычно это было и для английского языка во времена Мида.

Богатая лексика используется Мидом для описания событийности мира: не только *event* («событие»), но и *happening* («событие», «происшествие») и *occurrence* («событие», «происшествие», «явление»). Иногда глаголы *to happen* и *to occur* («происходить» или «случаться») или производные от них причастия соединяются с этими существительными; такие соединения передавались устойчивыми фразеологическими оборотами (например, «происходящее событие»).

Событийность всегда связана с появлением чего-то в опыте, и для описания этой ее стороны Мид исполь-

⁵⁵ Мидовское понятие «the world that is there», как и многие другие упоминаемые здесь понятия и термины, подробно обсуждается в книге Миллера (*Miller D. George Herbert Mead... P. 25–45, 88–102, 108–112*).

зует два ряда устойчивых терминов: глагол to emerge («возникнуть») и производные от него прилагательное emergent («эмерджентный») и существительные emergence («эмерджентность», «возникновение») и the emergent («эмерджентия», «эмерджентное»); глагол to appear («появиться», «явиться») и производное от него существительное appearance («появление», «явление», «явленность»). Каждый из этих рядов выполняет свои задачи. «Эмерджентности» противопоставляется «тождество», или «идентичность» (identity); часто через запятую с ней фигурирует «новизна» (novelty). В «явлении», или событийном «явлении», чего-то всегда есть элемент «явленности», или «наружности» (the outside), которому противопоставляется «внутренность», или «нутро» (the inside, the interior, innerness, inner character), как что-то, относящееся к out there, в противоположность there. «Эмерджентности» как фактору «эмерджентной эволюции» соответствуют «эмерджентии», или «явления/явленности», всегда локализованные в тех или иных конкретных ситуациях; в этом смысле говорится, например, о «возникновении Я» как эволюционном событии и параллельно о «появлении Я» как событии в опыте. Так большое соединяется с малым, «макро» — с «микро». И эта связка — существенная сторона философии и социологии Мида.

Целая группа терминов, наряду с уже упомянутыми, предназначена для описания опыта. Термин experience («опыт», «переживание») легко переводится у Мида в глагол to experience («переживать») и герундий experiencing («переживание»). Он обозначает опыт как процесс, как активность. В опыте Мид выделяет два взаимосвязанных аспекта: contact experience («контактный опыт», «контактное переживание», «переживание в контакте») и distance experience («дистанционный опыт», «дистанционное переживание», или «переживание на расстоянии»). Для обозначения различных характеристик опыта Мид использует термин character («характер», «свойство», «качество», «характери-

стика»); примечательно, что этот термин в своем употреблении четко отграничивается от термина *quality* («качество»), входящего, например, в понятия «первичных» и «вторичных качеств». Для обозначения внутреннего наполнения явленных в опыте объектов Мид употребляет почти разговорное слово *stuff* («материя», «материал», «сущность», «основа»); применение этого слова позволяет Миду обходиться без слова «субстанция». Слово *object* в лежащей перед читателем книге всегда переводится как «объект» (и никогда как «предмет»), поскольку соотносится с понятием «объективность» (и никогда с «предметным» содержанием).

Словарь поведения/действия у Мида включает такие термины, как *act* («акт»), *social act* («социальный акт»), *activity* («деятельность»), *conduct* («поведение») и *behavior* (тоже «поведение»). Последний из названных терминов употребляется сравнительно редко. Все термины являются процессуальными, обозначают поведение как длящийся процесс.

Достаточно сложен и язык Мида для описания, условно говоря, субъективности. Центральным здесь является понятие *mind*, переводимое как «разум». Переводить его как «сознание» категорически нельзя, поскольку у Мида оно строго отграничено от понятия «сознание» (*consciousness, awareness*). Нет резона переводить его и как «дух», поскольку у Мида «разум» тесно увязывается с «природой». Соответствующее прилагательное *mental* переводится как «ментальный» и в очень редких случаях как «умственный» (там, где *mind* обозначает скорее «ум»). Термин *sensitivity*, обозначающий особую селективность живых форм в восприятии/конструировании своей среды, переводится как «восприимчивость»; этот термин переводим во множественном числе *sensitivities* («восприимчивости»). Термин *self* переводится как «Я», поскольку его референтом является именно то, что люди имеют в виду, употребляя местоимение «я»; получивший широкое хождение вариант «самость» используется только в

тех случаях, когда в тексте используется существительное *selfhood*. Термины «I» и «me», обозначающие два взаимосвязанных аспекта Я, в соответствии с одной из сложившихся традиций, оставляются без перевода; экзотические варианты перевода этих терминов, использовавшиеся в отечественной литературе, не только нежизнеспособны, но и ущербны в стилистическом отношении. Очень своеобразно используемое у Мида (как и у Дьюи) слово *value* везде, где возможно, переводилось как «ценность», в очень редких случаях, когда этот вариант совершенно не подходил стилистически, — как «значимость» или «значение» (избегание этого варианта обусловлено параллельным употреблением у Мида термина *meaning*, выполняющего совершенно другую функцию).

И еще два своеобразных термина требуют упоминания. Термин *form* («форма»), или *living form* («живая форма»), систематически используется Мидом для обозначения живых организмов. Сохранение этого терминологического своеобразия порождает иногда очень странно звучащие по-русски конструкции, однако это — небольшая потеря, если учесть сохранение в переводе того смысла, который Мид вкладывал в это словоупотребление. Говоря о «живых формах», или просто «формах», Мид имел в виду процесс сохранения формы, или идентичности, во времени; позднейшим развитием этой идеи можно считать понятие «сохранения латентного паттерна» у Т. Парсонса.

Заимствованный Мидом у А.Н. Уайтхеда термин *consentient set* переводится здесь, в согласии с уже сложившейся традицией, как «согласованное множество». Речь идет о любой устойчивой, сохраняющейся во времени комбинации взаимодействующих друг с другом элементов, будь то организм, Солнечная система, социальная группа или некая устойчивая социальная практика.

Для обозначения элемента тождества (идентичности) в явленных в опыте объектах Мид употребляет

заключенное в кавычки выражение «what it is» (или просто «what») в значении существительного; этот оборот передается в переводе как «что́ это» или «что». От такого возможного варианта, как «чтойность», мы отказались ввиду его экзотичности.

* * *

Я хотел бы выразить сердечную благодарность всем, кто поддерживал мои ранние попытки перевода произведений Дж.Г. Мида: Н.Л. Поляковой, Л.В. Гирко, Ю.М. Резнику, Е.В. Якимовой, Д.В. Ефременко, О.А. Оберемко. Без этой поддержки и накопленного благодаря ей опыта я никогда бы не рискнул взяться за перевод этой книги⁵⁶.

⁵⁶ Переводы лекций I, II, IV, а также полный перевод статьи «Генезис Я и социальный контроль», часть которого включена в «Философию настоящего» как и V дополнительный очерк, публиковались в сборнике: *Мид Дж.Г. Избранное...* С. 76–137, 52–75. Для настоящего издания они были заново сверены, и в них были внесены некоторые исправления.

Научное издание
Серия «Социальная теория»

ДЖОРДЖ ГЕРБЕРТ МИД

ФИЛОСОФИЯ НАСТОЯЩЕГО

Главный редактор
ВАЛЕРИЙ АНАШВИЛИ

Заведующая книжной редакцией
ЕЛЕНА БЕРЕЖНОВА

Редактор
МАРИНА КОВАЛЕВА

Художник
ВАЛЕРИЙ КОРШУНОВ

Верстка
СВЕТЛАНА РОДИОНОВА

Корректор
ВАЛЕРИЯ КАМЕНЕВА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
101000, Москва, ул. Мясницкая, 20
Тел./факс: (499) 611-15-52

Подписано в печать 17.12.2013. Формат 84×108/32
Гарнитура Minion Pro. Усл. печ. л. 14,3. Уч.-изд. л. 11,6
Печать офсетная. Тираж 1000 экз.
Изд. № 1705. Заказ №

Отпечатано в ГУП ЧР
«ИПК «Чувашия»
Мининформполитики Чувашии,
428019, Чебоксары,
пр. И. Яковлева, 13

ISBN 978-5-7598-1099-5



9 785759 810995